

**Древние языки  
в русской литературе  
XIX века**



Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Тверской государственный университет»  
Филологический факультет  
Кафедра истории русской литературы  
Кафедра русского языка  
Кафедра фундаментальной  
и прикладной лингвистики

**Древние языки  
в русской литературе  
XIX века**

*Монография*

*Под редакцией*

*Ю. Н. Варзони́на и А. Ю. Сорочана*

Тверь

2015

УДК 821.161.1.09(036)+81'01  
ББК Ш33(2=411.2)52—117я22+Ш12я22  
Д 73

Авторский коллектив:  
Ю. Н. Варзонин, С. А. Васильева,  
Е. П. Максимова, А. Ю. Сорочан

**Древние языки в русской литературе XIX века** / Ред.- сост.  
Ю. Н. Варзонин, А. Ю. Сорочан — Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2015. — 196 с.

Монография подводит итог проекта комплексных исследований, устанавливающих закономерности трансформации элементов классических культур в структуре литературного текста. Рассматривается роль древних языков в гуманитарном образовании в России и Европе, характеризуются функции иноязычных цитат в текстах различных авторов XIX столетия, формы «языкового присутствия» древней культуры в переводах, в жанровой литературе и нехудожественной прозе.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Древние языки в русской литературе XIX века», 12-04-00036.*

ISBN 978-5-903728-95-4

© Авторский коллектив, 2015  
© Изд-во Марины Батасовой, 2015

## Предисловие

Коллективная монография «Древние языки в русской литературе XIX века» посвящена широкому кругу проблем функционирования и восприятия фрагментов античной (классической) словесности в русской литературе XIX века. В основу исследования положена гипотеза о том, что в течение прошлого столетия постепенно формировался некий культурный «разрыв» между художественной словесностью периода русской классической литературы и словесностью современности, по крайней мере, в отношении её связи с европейской античностью и языковой представленности такой связи в тексте. Подобный «разрыв» неизбежно становится препятствием для современного читателя, которое требует специальных приёмов дидактического характера, призванных устранять соответствующие затруднения. Чтобы сформулировать необходимые рекомендации, авторский коллектив объединил усилия лингвистов и литературоведов.

Общая схема разработки проблемы включает в себя несколько этапов. Прежде всего, авторы сочли необходимым представить основные контуры широкого лингво-культурологического контекста бытования фрагментов античной культуры (словесности в частности) в европейском культурном пространстве XIX-XX веков, а также в российском образовании и в российской культуре. Без такой информации, почти полностью забытой, многие особенности лингвистического и литературоведческого анализа применительно к античному текстовому материалу для современного читателя остаются непонятными.

Далее разрабатываются лингво-теоретические основания восприятия античного текста. Авторы исходят из представления о необходимости адаптации современных лингвистических концепций к анализу, в том числе, античного языкового материала не из желания противостоять традиционной классической филологии, которая по преимуществу является системно-структурной, а из желания продемонстрировать пригодность

новейших лингвистических теорий для такого анализа. Специфика рецепции античного текста во времени и пространстве рассматривается через структуру коммуникативной ситуации, представленной такими параметрами, как автор, текст, читатель, текст в тексте, NANO-читатель. Античная цитата в художественном тексте описывается в рамках когнитивно-дискурсивного анализа с учётом условий бытования, коммуникативной ситуации и её жанрового воплощения, концептуальных структур и языковых особенностей. Античная цитата в тексте и диалоге рассматривается с точки зрения семиотики как специфический знак, который способен отрываться от условий своего первичного (авторского) означивания и начать параллельное существование вслед за новой интерпретацией (переинтерпретацией). Впрочем, в этом случае, вероятно, следует фиксировать наличие не одного, а двух знаков. Прагматика античной цитаты ориентирована на семантический и прагматический уровень анализа с учётом локутивной, иллюкутивной и перлокутивной составляющих речевого акта. Речеактовый (шире — прагматический) подход оказывается столь же приемлемым, как и традиционные подходы. Наконец, в некоторой степени обобщающим взглядом на функционирование античного текстового (или языкового) материала в разных видах коммуникации выступает раздел, в котором рассматривается лингвистический статус античных цитат — здесь современные подходы сочетаются с традиционными.

В целом следует констатировать наличие выраженной специфики восприятия и понимания античного текстового материала современным читателем, для которого такой материал представляет собой немалую трудность. Однако наличие трудностей вовсе не отменяет необходимость с ними справляться, причём справляться профессионально, не подменяя проблему «видимостью» её решения, когда значения и смыслы приписываются произвольно. В ходе исследования была обнаружена подобная тенденция, которая, впрочем, не противоречит естественным законам человеческой коммуникации. Тем не менее,

знакомство с основными трудностями восприятия фрагментов античной словесности представляется не только полезным в условиях образования, но даже необходимым. Можно лишь сожалеть о том, что классическая составляющая сегодняшнего образования стремительно исчезает.

Однако есть небезосновательная надежда на то, что ни из образования, ни, тем более, из культуры, не исчезнет русская классическая литература, в которой обильно представлены не только перлы античной словесности, вызывающие пусть трудно добываемые, но восхитительные аллюзии и ассоциации, но и бесконечно воспроизводимые термины, и даже собственные латинские и греческие «экзерсисы». Целый ряд разделов монографии посвящён литературоведческому, историко-критическому, культурологическому анализу античного текстового материала в творчестве литераторов XIX века.

Особое внимание к стилистическим возможностям языка в создании художественных образов, наличие разных языковых стихий и участие разных языков в стилистическом портрете эпохи, чуткое и проницательное отношение к языку Библии показаны на примере творчества Ф. Н. Глинки. Стилистические градации, авторское видение языка эпохи, читательское восприятие, функциональные классификации, «скрытые» смыслы слов и текстов, связанных с предшествующими эпохами, анализируются на материале исторических романов И. И. Лажечникова. Подробно рассматривается отношение Ф. М. Достоевского к древним языкам (особенно в отношении к месту русского языка в образовании того времени) в образовании, воспитании и культуре в целом. Сам отменный знаток, Ф. М. Достоевский признавал развивающий потенциал древних языков, но, прежде всего, видел пользу их изучения для достойного владения родным языком.

Весьма неожиданные результаты получены при анализе античного материала в беллетристике Вас. И. Немировича-Данченко, который сознательно выстраивает беллетристическую стратегию, в рамках которой всё, что может повредить уп-

рощённому истолкованию текста, из него устраняется, включая «находящийся под рукой», легко реконструируемый, античный материал.

В жанре исторического романа был исследован обширный корпус текстов. Легко предполагать, что удельный вес античного наследия в этих текстах высок, даже с учётом впечатляющей повторяемости отдельных цитат, отдельных слов. Здесь обращение к материалу древних языков позволяет дать комментарии к многим эпизодам, соотнести тексты «забытые» и «классические», приблизиться к пониманию «античного присутствия» в русской культуре. Использование латинских цитат, фраз и слов на примере переводной литературы продемонстрировано в анализе исторической трилогии Г. Сенкевича (578 контекстов). В данном случае подтверждается не новый вывод о том, что латинские вкрапления в структуру текста призваны сигнализировать неповторимость европейской культуры, складывающуюся из сочетания христианства и античного наследия. Отдельный раздел монографии занимает изучение функционирования древних языков в литературе путешествий (травелогии). Как выясняется, оно связано скорее с «языками», нежели с «древностью». В то время как в начале XIX столетия наблюдается усложнение значения классических формул, то в конце века эти формулы предстают как воплощения неких условных моделей («педагогической» или, чаще, «политической»).

Анализ латинских и греческих вкраплений в журнале «Исторический вестник» в первые годы его существования позволил выявить относительную редкость таковых вставок, что вполне правдоподобно объясняется спецификой издания. Интерес к нему предполагал определённый уровень образования: знакомство с русской и зарубежной историей, географией, политическим устройством государств. Принадлежа в жанровом отношении к беллетристике, журнал не был наукообразным, не ограничивал круг своих читателей серьёзной научной аудиторией, подтверждением чему и является достаточно редкое употребление ан-

тичных текстовых фрагментов, при том что речь об их отсутствии, конечно, не идёт.

Только что отмеченная тенденция «не перегружать» интеллектуальными усилиями свою возможную читательскую аудиторию относится всё же к той эпохе, когда знакомство с античной литературой, историей, древними языками не было редкостью, поскольку составляло сердцевину гимназического образования. И хотя авторы литературных произведений сознательно используют античный текстовый материал, каждый раз ставя вполне определённую (при всём многообразии) цель, вряд ли оправданно видеть в таких художественных приёмах высокую степень орнаментальности. Наличие большого количества читателей, легко усматривающих и значения со смыслами, и авторские стратегии, неизбежно требует приемлемой корректности (оправданности и умеренности) в обращении с древними языками. В целом, в ходе исследования этот принцип нашёл подтверждение. Следует заметить, что в текстах литературных произведений содержится огромное количество орфографических ошибок (особенно в греческих цитатах), но этот факт даже косвенно не может соотноситься с авторами, поскольку лежит на совести книгоиздателей, редакторов, корректоров. Рукописи в данном проекте не изучались.

Если обратить внимание на то обстоятельство, что монография посвящена очень узкой проблеме из перечня проблем, охватывающего столь широкое и богатое пространство, как русская литература XIX века, то узость проблемы не может восприниматься как её неважность. Действительно, древние языки в этой литературе — пример трудно воспринимаемого содержания, но они там присутствуют на все времена. Отказываясь «расшифровывать» такое содержание, читатель теряет его существенную часть, отчего и само литературное произведение становится всё менее доступным. Так ослабевает культурная преемственность, беднеет сама словесность, оскудевает риторический идеал современника. Ныне латинская фраза (и уже почти невозможно сказать: греческая) произносится в буквальном смысле «ради



красного словца», поскольку никто не должен ожидать, что слушающие обладают соответствующей компетенцией — понять и интерпретировать эту фразу. Уместен вопрос: стоит ли её произносить? Видимо, стоит, поскольку даже ухо перестаёт слышать что-то нечужое в том, что совсем чужим назвать нельзя.

Таков круг вопросов, затронутых в данной книге. Авторы далеки от мысли, что им удалось на все эти вопросы ответить. Однако мы дерзнём надеяться, что найдутся читатели, которых эти вопросы не оставят равнодушными, возможно, наведут на размышления, не обязательно согласные с представленными здесь рассуждениями. В любом случае, забота о судьбах родной для нас словесности не может быть напрасной.

*Ю. Н. Варзони*

## Глава I

### HABENT SVA FATA LINGVAE?

Есть ли своя «судьба» у каждого из языков? История классических языков многое способна прояснить. Обратимся к некоторым её аспектам, концентрируясь на последних двух веках нашей истории.

### STVDIVM LATINVM В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ XIX ВЕКА

В истории европейского образования термин «латинская школа» уже в XVI веке был повсеместным<sup>1</sup>. Этот термин соответствует современному понятию «общеобразовательная школа, средняя школа» — подготовительной ступени для получения университетского (высшего) образования. В основных чертах античная система образования и была перенята, а частью адаптирована, в Европе после заката Рима. Римские представления об образовании находились под сильнейшим влиянием греческих концепций, но при том обладали собственной спецификой. Римский идеал — крестьянин-воин, служащий *res publica* в зависимости от насыщенной потребности. Катон Старший в начале II в. до Р.Х. составляет знаменитые «*Libri ad filium*», в которых сведено воедино всё, что следует знать его наследнику: сельское хозяйство, врачевание, красноречие, военное искусство. С этого периода греческая образовательная система получает всё большее распространение, математические дисциплины уступают место юридическим, обучение языкам и литературе ведётся одновременно с изучением истории (*exempla* — исторические примеры; *mores maiorum* — образцы достойного поведения предков). Более высокая степень образования предполагала изу-

---

<sup>1</sup> Françoise Waquet. Latin or the Empire of a Sign. From the sixteenth to the twentieth centuries [Текст] / Françoise Waquet: Translated by John Howe. London – New York: Verso, 2001. P. 19.

чение риторики, а на завершающем этапе — уроки философии, обычно в Афинах.

Греческое школьное образование было бесплатным, в то время как в Риме оно всегда оставалось частным. В элементарных школах, где учили чтению, письму и счёту, ученики за плату посещали учителя. Содержанием образования в значительной мере являлись занятия языком и литературой. Занятия были двуязычными: до 12 лет — греческий язык и литература, затем параллельно с этим латинский язык и литература вплоть до 17-летнего возраста. И в Греции, и в Риме после среднего образования имела высшая ступень, на которой прежде всего постигались риторика и философия. Практической целью высшего образования в Греции была медицина, в то время как в Риме такой целью являлась юриспруденция. Со II в. по Р.Х. в разных частях империи начинают появляться и государственные заведения для получения высшего образования.

После падения Рима в Европе на несколько столетий прочно утвердился античный *trivium* и *quadrivium*, появится гимназия, из которой вырастут университеты уже после X века. Процесс формирования национальных государств сопровождается становлением, а затем нормированием национальных языков, из которых быстрее других «вызреют» романские языки — потомки латыни. Исторические процессы в языках сложны и долговременны, а миграционные процессы для Европы обычны и разнообразны. Именно в эти времена латинский язык становится поистине международным, обеспечивая коммуникативные потребности европейцев. С самого возникновения европейские университеты собирали в свои аудитории представителей самых разных этносов, и такая ситуация естественным образом требовала наличия языка-посредника. Латинский язык в таких условиях был языком общения, языком обучения, языком учёности и науки. По мере того, как национальные языки укреплялись и приближались к форме языков литературных, появлялась и распространялась новая национальная литература, включая огромное количество мировых шедевров на все времена, позиции латинского (общего для всех) языка должны были ослабевать, что в конечном счёте и произошло, поскольку забвение латыни, гре-

ческого и античной культуры хорошо знакомо нашему времени. Однако путь к подобному «забвению» вовсе не был поступательным, хотя отдельные эпизоды в истории европейского образования после XVII века характеризовались заметным ослаблением так называемого классического образования. Вопреки ожидаемому регрессу наступали (и надолго) периоды обновления или даже всплеска интереса к классическому образованию. Данная статья ставит целью проанализировать статус классического образования в Европе XIX века, включая образование в России.

На самом рубеже нового тысячелетия в Европе увидела свет заслуживающая самого пристального внимания книга Франсуазы Ваке «Латынь, или Империя знака. От шестнадцатого до двадцатого века». Исследователь провела долгие годы в европейских архивах, библиотеках и самых разных учреждениях, хранящих несметные богатства латинской книжности, поставив перед собой задачу проследить и проанализировать место и роль латинского языка в системе образования, равно как и следствия занимаемого латынью статуса в социокультурном измерении. В целом идеологической платформой Ф. Ваке является совершенно бесспорное представление о том, что уникальная жизнеспособность латинского языка меньше всего объясняется лингвистическими факторами, а более всего — сверхнагруженной символической значимостью того культурно-цивилизационного пространства, элементы которого оказались вербализованными единицами и знаками латинского языка. Для современного Запада остаётся актуальным «латинское измерение» (*Latin dimension*) — генетическая связь современности с далёкими античными корнями. Если учесть, сколь глубокий след европейская культура Нового времени оставила на большей части планеты, то *Latinitas/Antiquitas* не может восприниматься совсем чужой практически для всего человечества. В то же время, почти повсеместное и тотальное вычёркивание дисциплин классического образования из учебных программ ожидаемым образом приведёт (и уже приводит и привело) к разрыву между (если воспользоваться терминами семиотики) планом содержания и планом выражения подобных знаков: в условиях, когда экспо-

ненты знаков продолжают обращаться в современном коммуникативном пространстве частью по традиции, частью в силу объективного наличия их в доступных для коммуникации средствах, содержательная сторона их подвергается произвольной деформации просто потому, что концептуальное пространство (контексты культуры-донора) остаются неосвоенными. Итогом тому бывает известное «примысливание» — ничем не обоснованное приписывание не свойственных данной культуре значений и смыслов со всеми вытекающими последствиями, причём совершенно однообразными: homo fallitur (человек обманывает себя). Классическое образование усердно препятствовало такой тенденции, и, следует заметить, оно с этим совсем не плохо справлялось, чему в рассматриваемой книге имеется множество убедительных свидетельств.

В Западной Европе повсеместно вплоть до конца XIX века все дети, получавшие по современным понятиям среднее образование, должны были тратить огромные усилия на изучение латыни. Начинать приходилось рано — с семи— и восьмилетнего возраста, а далее изучение латыни продолжалось долгие годы (до десяти лет). Уже в детском возрасте количество античных текстов, с которыми знакомился ребёнок, было впечатляющим. Кроме самих учебных заведений широко распространено было и домашнее образование, и зачастую уже в младших классах собирались ученики с высокой степенью подготовленности. Многочисленные факты, приводимые в книге Ф. Ваке, вызывают восхищение: Джон Стюарт Милль, к примеру, освоил весь корпус латинской литературы, когда ему ещё не исполнилось тринадцать лет<sup>1</sup>.

К 1837-му году латинский язык стал доминирующим учебным предметом в прусской гимназии, потеснив позиции древнегреческого. В целом ученики гимназии имели 8-10 уроков латинского языка в неделю (на древнегреческий приходилось 4-6, на немецкий — 2-4), что занимало треть всего учебного времени. На педагогической конференции 1890-го года кайзер Вильгельм II призывал прекратить воспитывать юных греков и рим-

---

<sup>1</sup> Там же. С. 129.

лян, и уже через два года доля латыни в расписании сократилась с 77 часов до 62, а немецкого возросла с 21 до 26. Выпускные испытания (Abitur), открывавшие дорогу в университет, включали сочинение на латинском языке. Уже после 1900-го года в университеты смогут поступать выпускники реальных школ (Oberrealschule и Realgymnasium), в которых не преподавались классические языки, и тогда классические гимназии вновь увеличат долю специальных предметов. Такое положение будет в целом сохраняться в XX веке, когда классическое образование практически утратило свои позиции во всей Европе. На этом фоне выпускники немецких классических гимназий составляют приятное исключение, если только не выбрали французский язык как альтернативу латыни. В содержательном отношении курс гимназической латыни в Германии целиком соответствует сложившейся за многие века европейской традиции.

Классическая прусская гимназия интересна для нас и в том отношении, что её опыт использован при создании системы среднего образования в России. «В стране, где среднее образование лишь делало первые мучительные шаги в начале XIX века, латынь смогла занять на удивление выдающееся место, если принять во внимание, что она являлась заимствованным феноменом. Русский «классицизм» достиг своего пика, когда министром был граф Толстой, посещавший Пруссию для того, чтобы познакомиться с немецкой системой образования из первых рук. План, представленный в 1869-м году, предполагал два уровня среднего образования: во-первых, учреждения, дающие практическую подготовку детям, которые в будущем станут выполнять локальные функции; во-вторых, классические гимназии, готовящие более способных детей для университета и гражданской службы. После пересмотра в 1871-м году классические предметы — на практике почти одна латынь — занимали 41 процент учебного времени в гимназии, притом что 14 процентов отводилось на математику, 12 на русский язык и ещё 10 на современные языки. И хотя после того, как министр впал в немилость в 1882-м году, количество отводимого на латынь времени сократилось за счёт расширения преподавания русского языка, литературы и географии, гимназия удерживала доминирующее по-

ложение над реальным училищем и на пороге Октябрьской революции, а латынь оставалась её главным предметом»<sup>1</sup>.

Предпосылки к появлению классических дисциплин в школьном образовании в России существовали и без упоминаемого в цитате заимствования феномена, поскольку уже столетие действовала Славяно-греко-латинская академия (менявшая неоднократно название, до тех пор пока в 1814-м году она не превратилась в Московскую духовную академию в Троице-Сергиевой лавре). Естественно ожидать, что в деятельности академии уже были заложены принципы отбора и анализа учебного материала, но в силу очень разных причин общий подход всё равно оказался максимально близким к германской дидактике, которая в конечном счёте привела к формированию наиболее мощного научного центра классической филологии, продолжающего оказывать влияние и в настоящее время.

В российском образовании XIX век совсем однородным не был, образование постоянно реформировалось, учебные планы пересматривались. Однако за это столетие в недрах российской гимназии сложилась во многом уникальная практика синтеза дисциплин филологического направления под общим названием «теория словесности». Этот предмет гармонично опирался на хорошо выстроенную традицию европейского образования, заключавшуюся в повышенном внимании к изучению древних языков, на фоне которых овладение новыми языками не представляло сверхтрудности, поскольку положительный опыт глубокого знакомства с латинским и древнегреческим языками без особого напряжения интерферировался на языки, генетически с ними связанными. Вопрос о том, для чего требовалось столь глубокое знакомство, при ближайшем рассмотрении решался в пользу культурной значимости всей латино- и грекоязычной словесности: древние языки имели не самоценность по преимуществу, но открывали доступ к бесценным источникам мировой (европейской) культуры. В российских условиях удалось удачно присоединить к европейскому опыту и славянский элемент, в результате чего возникло особое, очень доверительное и тонкое,

---

<sup>1</sup> Там же. С. 28–29.

отношение к слову, как это сплошь и рядом зазвучит уже в XX веке. Словесность, понимаемая и как своего рода умение, и как кладовая мудрости и изящности, постепенно превращается в своеобразный магнит, притягивающий всю гуманитарную составляющую гимназического образования. Потеря курса теории словесности в нашем образовании — самая несправедливая потеря, поскольку опыт XX века однозначно показал, что разрыв между литературоведением и языкознанием в новых образовательных стандартах пока что имеет самый печальный результат — выпускники школ не имеют ни малейшего представления о языке как феномене, совершенно не владеют иностранным языком, крайне мало начитаны и не стремятся к чтению как виду деятельности. Эта ситуация во многом характеризует как раз европейское образование в целом, но печально сознавать, что российское образование имело великолепную возможность до названного отчаяния не доходить. История российского гимназического курса теории словесности, его специфики, успехов и падений изложена в замечательной работе И.А. Зарифьян<sup>1</sup>. Надо понимать, что для массового образования (а это — условие, с которым сегодня нельзя не считаться всерьёз) вопрос восстановления курса теории словесности не может стоять — он сегодня вряд ли может быть освоен и студентом университета (по крайней мере, учебник латинского языка для начальных классов гимназии в наше время может осилить только студент не первого курса классических отделений филфаков университета), но этот вопрос всё же актуален, поскольку дети в школе так же, как в прежние времена, тратят время на изучение гуманитаристики, а государственные чиновники от образования заверяют общественность в том, что это образование призвано соответствовать «духу времени» самыми наилучшими и доступными средствами. Если бы всё было именно так, нашлись бы и светлые головы, которые вместо нынешней видимости образования создавали бы учебные программы, тысячелетиями приводившие к ви-

---

<sup>1</sup> Зарифьян И.А. Общая и частная риторика в истории курса «Теория словесности» [Текст] / И.А. Зарифьян // Риторика. 1995. № 1. С. 90–110.



димому успеху: на протяжении этих тысячелетий учение было сладким корнем тяжкого труда (*amarae doctrinae radix suavis*).

Особое отношение сложилось между русской и французской культурой, породившее столь уникальное явление, как культурное двуязычие. Вместе с французским языком и французской литературой в культурное пространство России вливалась и изрядная доля латыни уже хотя бы потому, что во французском образовании латынь прочно удерживала доминирующую позицию. Как и в других странах, на протяжении XIX века и во Франции постоянно проводились реформы образования, и количество времени, отводившегося на изучение классических дисциплин, неоднократно менялось, в целом оставаясь очень большим. До 1902-го года на латынь отводилось 1400 часов за полный курс, после этого рубежа (до 1959-го года) — 1260 часов. Только во второй половине XX века объём времени, отводимого на латынь, стал сокращаться заметно, а кроме того в лицах появилась возможность выбора изучаемого предмета, то есть латынь перестала быть обязательным предметом в образовании. Во французском образовании XIX века глубокое знакомство с античностью мыслилось как залог успеха в национальном языке, национальной литературе, национальной культуре, а потому дидактическая концепция выстраивалась как «производное от латыни»: писать достойно означало писать латинским языком по-французски. Параллельно и во Франции позиции латинского языка в образовании неуклонно слабели. Сначала обязательным элементом квалификационных испытаний перестало быть латинское стихосложение, затем из испытаний выпало и прозаическое сочинение, бывшее долгое время обязательным, например, для зачисления на учительские курсы.

Традиция обучения латыни во Франции обладает весьма примечательной спецификой сравнительно, прежде всего, с традицией немецкой. «Парижская всемирная выставка 1900-го года стала поводом для сравнения методов преподавания классических дисциплин по тестам и упражнениям, учебникам и прочим реалиям из мира педагогики, выставленным здесь. Сравнение страдает по причине отсутствия Германии, особенно потому, что страны, в которых классическое образование оставалось

сильным — Швейцария, Австрия, Испания, Бельгия, Голландия — ничего в этой сфере не продемонстрировали, а прочие (скандинавские) страны продемонстрировали немного, отдав предпочтение акцентированию прогресса в технической и профессиональной подготовке. На основе стран, демонстрировавших свои экспонаты (Соединённые Штаты, Британия, Канада, Венгрия, Италия, Португалия, Россия, Швеция, Норвегия и, само собой, Франция), оформились два главных подхода к изучению античных текстов: один, грамматический и формальный, действовал в Британии и России; другой, исторический и археологический, доминировал в Соединённых Штатах, Канаде, Венгрии и Италии. При первом подходе латинских и греческих авторов читают для изучения латыни и греческого; при втором подходе — для изучения греческой и римской истории. Тот метод, к которому университет Франции всё более приходит в настоящее время, — нравственный и философский, но в то же время литературный, который меньше озабочен формами и фактами, нежели идеями и чувствами, очень в малой степени представлен ещё где-нибудь»<sup>1</sup>. Разумеется, результаты Парижской выставки не являлись инновациями в собственном смысле, поскольку зафиксированные методы уже выкристаллизовались в предыдущие столетия, причём в XIX веке по преимуществу, когда отмечался повсеместный рост интереса к классическому образованию.

Почтение к классическому образованию достигло пика в XIX веке в Англии, где древние языки занимали половину, а иногда и две трети, учебного времени в *public schools*. К примеру, в Итоне — одном из консервативных учебных заведений — в 60-е годы XIX века из 31 наставника 26 преподавали исключительно древние языки. «В младших классах мальчики проводили время преимущественно за латинской грамматикой в так называемых «зубрильных герундиях» (*gerund grind*) — выражение, означающее одновременно и метод — занудное повторение, и материал — латинскую грамматику, названную по своей частности —

---

<sup>1</sup> Françoise Waquet. *Latin or the Empire of a Sign. From the sixteenth to the twentieth centuries* [Текст] / Françoise Waquet: Translated by John Howe. London – New York: Verso, 2001. P. 31–32.

герундию. Затем они продвигались к основам латинского стиха: сами названия классов в Итоне — Scan (от *скандирования* — принципа чтения стиха), Prove (от *пробовать*), Nonsense (*лишённое смысла*), Sense (*осмысленное*) — обозначают последовательность ступеней мастерства в латинском стихосложении, начиная с правил скандирования и просодии к написанию стихотворных фрагментов, проходя через поэтические экзерсизы, в которых смыслу не придавалось значения, но в которых соблюдались правила ритма, метра и скандирования. Всё это сопровождалось усердным чтением латинских поэтов и заучиванием сотен строчек стихов. К концу XIX столетия не только не произошло изменений в преподавании классических дисциплин в public schools, но расширение системы подобного образования привело к тому, что куда больше мальчишек глубоко изучало классические предметы в 1900-м году, чем в 1800-м»<sup>1</sup>.

Традиционно сильные позиции сохранялись за латынью в романских странах, о чём можно всецело осведомиться в названной книге Ф. Ваке. Оставляем ситуацию в прочих странах как бы вне поля зрения потому, что так или иначе эта ситуация проецируется на состояние образования в России через уже названные модели (германскую, французскую и британскую), поскольку сквозь призму времени мы имеем возможность ретроспективно и достаточно надёжно исходить из состояния дел de facto, то есть зная о том, какие влияния на отечественную культуру оказались наиболее глубокими. При пристальном внимании к каждому отдельному вектору удаётся усмотреть неодинаковость, специфичность каждого отдельного влияния, но такая задача должна быть оправданной для особых исследовательских целей — если не стоит вопрос о взаимодействии каких-либо культур, о выяснении доминант и предпочтений, без всех этих очень не простых и не безобидных коллизий следует обойтись. В данном случае не анализируется степень влияния (а она очевидно очень высока) европейских дидактических моделей на российское образование, а, скорее, предпринимается попытка навести на мысль о том, что между первой и второй имеется ге-

---

<sup>1</sup> Там же. С. 27–28.

нетическая связь, давняя связь, которая при любых обстоятельствах не позволяет ставить знак равенства между образованием в Европе и в России. Если для европейцев цивилизационные первоначала естественным путём уходили в Древний Рим, то для России они даже при желании не уходили не только в Рим, но и даже в Древнюю Грецию, с которой Россия на все времена породнилась, приняв православие. Вот этот своеобразный «дополнительный», «свой славянский» элемент, в сочетании с безмерной в любых отношениях кладовой греко-римской мудрости, по всем признакам, и стал, на сегодняшний момент, пиком российского образования несмотря на то, что этот пик пришёлся практически на начальную фазу его (образования) формирования. Как ни печально, но после XIX века российского образования всерьёз можно говорить лишь о его деградации, причём в начале XXI века эта деградация приобрела устрашающие темпы. Разрушение системы классического образования не вызвало к жизни какой-нибудь новой успешной модели, которая могла бы всерьёз соперничать с европейским *studium latinum* — оставшиеся от этой системы фрагменты и осколки утратили признаки интегративности и перестали «поддерживать» друг друга на пути к общей цели. Здесь не ставится вопрос о возврате к утраченной модели, но общие принципы, лежавшие в её основании, не должны игнорироваться, поскольку уровень образованности в настоящее время стремительно снижается и разрыв в культурной преемственности превращается в реальную угрозу.

Классическое образование XIX века «работало» на формирование общего культурного фонда во всех европейских странах, совсем не подавляя национальный компонент, но усиливая его своего рода общим духом — в какой-то мере вечным, выверенным, надёжным. Европейцы не только осваивали как залог образованности одни и те же античные тексты, но и грамматические пособия, открывавшие путь к тексту, поражают воображение своим разнообразием: к примеру, в качестве образца парадигмы первого склонения в тысячах учебных книг встречаются *rosa, puella, mensa*<sup>1</sup>. Тот же принцип действует и в отношении

---

<sup>1</sup> Там же. С. 31.

прочих явлений. При таком положении дел элементы античности становятся удобным и действенным риторическим средством в самых разных формах коммуникации, поскольку наличие общего фонда знаний, как это со всей очевидностью проявится в коммуникативистике уже XX века, — непереносимое условие успешного общения. Словесность XIX столетия характеризуется, с одной стороны, тем, что её творцы сами приобщены к золотому запасу античности, а с другой стороны тем, что и потенциальные потребители их творческого продукта напитаны тем же самым источником. Национальные литературы великолепным образом эту взаимозависимость демонстрируют, россыпи таких диамантов — типичная черта русской литературы, которая своими вершинами обрела всецело вселенское значение. Да и наличие общего представления о содержании образования выступало в течение многих веков конструктивным фактором. Уже в XX веке со всей очевидностью обозначится проблема отбора материала, который должен быть освоен на разных ступенях образования: бесконечные споры и очередные эксперименты производят больше смятения, нежели знаний и умений, притом что у новых поколений учащихся складывается неоправданное представление, будто обновлённые образовательные программы обеспечивают современный и более адекватный уровень образованности. На самом деле всё как раз наоборот. В прежние времена и в этом отношении было много проще, поскольку критерии образованности длительно не изменялись и были хорошо известны учёному миру.

Господство предметов классического направления в европейском образовании в XIX веке, вероятно, в недалёкой перспективе будет восприниматься с непониманием, а отрыв от той традиции уже должен считаться состоявшимся. В некоторых видах образовательной деятельности такой отрыв и дальше будет порождать трудно или совсем не решаемые проблемы. В частности, отказ от обучения латинскому и греческому языкам неизбежно снижает ощущение «внутренней формы», мотивированности, этимологической насыщенности того слова, которое восходит к латинскому или греческому слову, либо словообразовательному элементу — таких слов в русском языке тысячи. Не-

знание связи с источником становится причиной неловкого, неточного или неправильного употребления, и кто, как не образовательные учреждения должны заботиться о том, чтобы человек был в состоянии пользоваться словом умело, точно и правильно!

Ещё большая сложность — чтение русскоязычной классики. Она вышла из-под пера великих творцов, прекрасно знавших и любивших всю ту словесность, которая и определяла содержание образования. Человеку, получающему образование в современных условиях, впредь будет всё труднее воспринимать и понимать художественные тексты, не говоря уже о том, что в российском образовании изначально литература мыслилась как искание своего места в жизни.

*Ю. Н. Варзони*

## LINGVA NEMINI ALIENA: ЛАТЫНЬ В ЕВРОПЕ XIX ВЕКА

В силу вполне объяснимых причин наличие элементов древней (античной) словесности как в художественных текстах, так и в устном общении вызывает обоснованную ассоциацию с учёностью. Во-первых, само знание таких элементов является плодом учения и в обычных ситуациях весьма надёжно такого рода учёность сигнализирует. А во-вторых, уже как составная часть авторского текста, который осваивается читателем, античные вставки сообщают о некоторой, пусть не сразу ясной, символической ценности, по крайней мере, для автора. Поскольку автор может оказаться из числа тех, кто в силу традиции заметно влияет на трансляцию культуры в том или ином обществе (этносе), то подспудно он своим авторитетом способен, хотя бы отчасти, внушать и названную символическую ценность. Так или иначе, использование античных оригинальных элементов прежде всего отсылает к образованию — той сфере, где в европейском культурном пространстве безраздельно веками господствовали образцы древнегреческой и латинской словесности. Для Западной Европы удельный вес латыни был изначально выше, а после раскола Церкви в XI веке он лишь возрастал, так что вполне обычным становилось знакомство с греческими авторами через посредство латинского языка. Не станем, однако, забывать, что предметом изучения греческий язык оставался наряду с латинским, но на освоение последнего отводилось традиционно значительно больше учебного времени. Программы изучения латыни предполагали овладение чтением, письмом и способностью общаться, то есть латинский язык изучался в том объёме, в котором никакие виды коммуникативной деятельности не являлись исключёнными или затруднёнными. Древнегреческий язык, который, в свою очередь, требует заметно больших усилий обучаемых, чтобы овладеть им в объёме свободной коммуникации, реально не конкурировал с латинским, а усиливал его, создавая надёжную опору уже потому, что сам латинский

язык в своё время испытал мощнейшее воздействие греческих диалектов. Типологическая близость структуры этих языков дидактически обращалась пользой для продвижения и в одном языке, и в другом, а обильно заимствованные из греческого в латинский лексемы неизбежно проясняли все те аспекты, которые принято связывать с этимологией — уже в самой античности внимание к этимологии было едва ли не главенствующим, если помнить, из каких практических потребностей возникла сама филология. В практическом отношении курс древнегреческого языка предполагал, как правило, знакомство с оригинальными текстами. Надо напомнить, что в течение многих веков никакого другого варианта приобщения к богатствам античной словесности не существовало, но уже в XIX в. ситуация решительно изменится: теперь всякий желающий прочитать Гомера и Вергилия уже не нуждается в том, чтобы потратить многие годы на трудоёмкое постижение греческого и латыни, поскольку тексты доступны ему на его родном языке. Перевод античной литературы на национальные языки объективно потребует коренного пересмотра системы образования, что и оформится окончательно уже в XX столетии: где-то раньше, где-то позже. Статус латинского языка в европейском образовании всё же следует ставить в качестве вершины того функционального разнообразия, которым отмечено функционирование языка, притом ни для кого уже не являющегося родным, в рассматриваемый период. Латынь здесь отчасти и источник самого образования, если иметь в виду адаптацию древнеримской образовательной модели, но она к тому же в очень значительной мере составляет и содержание образования вплоть до той поры, когда окрепнут национальные модели образования, в принципе не отличающиеся заметным разнообразием. Если взглянуть на историю латинского языка после заката Рима лингвистическим взглядом, то представится совершенно уникальная ситуация, когда на протяжении тысячелетий язык продолжает свою жизнь, легко захватывая новое коммуникативное пространство и приспособляясь к постоянно меняющимся внешним обстоятельствам. По-нятно, что такая особая судьба языка объясняется факторами



культуры, которые, разумеется, оказываются важнее самого языка и весьма тонко им «управляют».

Образование — важнейшая составляющая культуры. В той культурной ситуации Европы, которая сложилась исторически, близкое сходство образовательных моделей, общее содержание образования, ориентированное на общее европейское прошлое, выполняли роль крепкого и надёжного фундамента, на котором в наше время предпринимается попытка осознать Европу как «целое», как «единый дом». В этом фундаменте греко-латинский культурный компонент — каркас, удерживающий всю конструкцию. Ещё в 1885 году один брюссельский профессор, говоря об изучении классических языков, предупреждал: «Сомневаюсь, что когда-нибудь, даже в отдалённом будущем, будет найдена более здоровая и укрепляющая пища, и я с готовностью скажу, что если бы она не существовала, её надо было бы изобрести»<sup>1</sup>. Перестройка содержания образования и устранение из него античного компонента в виде греко-латинской словесности место и значимость античности для Европы не изменяет, но всё же неизбежно приведёт к ослаблению былого ощущения причастности к общей культуре, веками объединявшего европейцев. Впрочем, возможно, на фоне ослабления произойдёт замещение, и ту же роль станет играть некий иной фактор.

В современных условиях нет возможности и необходимости возвращать позиции классической древности в образовании. Всё, что до нас дошло от античности, переведено и доступно практически на любом языке (а что не переведено, вероятно, переведено будет); профессии, которые долгое время без латыни не мыслились (юристы, учёные, торговцы и др.), теперь в ней почти не нуждаются (или нуждаются не в ней). Однако история латыни и греческого тем самым не заканчивается, поскольку сами древние языки и связанная с ними книжность и впредь будут уделом профессионалов-филологов, для которых всё ещё существует несметный объём самых серьёзных занятий. Другое

---

<sup>1</sup> Marie-Madeleine Martin. *Le latin immortel* [Текст] / Chire-en-Montreuil, Diffusion de la Pensee Francaise, 1971. P. 248.

дело, что при количественном истощении профессионального цеха возникает множество проблем по поддержанию необходимого уровня научных кадров и их воспроизводству — велика угроза его развала и окончательной утраты, а поскольку культура не терпит пустоты, на освободившемся месте тут же явится какой-нибудь очередной флэш-моб. Вполне уместно говорить о том, что всё это должно оставаться предметом государственной заботы, но при безраздельном господстве прагматических и утилитарных требований к науке и образованию со стороны государства на подобную дальновидность рассчитывать вряд ли приходится. Тем более отрадны такие эпизоды в отечественном образовании, как открытие и успешное функционирование классической гимназии в Санкт-Петербурге, в которой классические дисциплины преподаются в прежнем (вспомним оплот российского образования — классическую гимназию) масштабе. Речь ведь не идёт о повсеместном копировании этого явления, но лишь о том, что для того чтобы совсем не оторваться от оправдавшей себя традиции, где-то и когда-то должно существовать что-то похожее на настоящую классическую гимназию: преемственность сильна только до тех пор, пока она не прерывается.

Сложение традиции в европейском образовании никак не предполагало связи между латынью и социальным статусом человека, но во многом эта связь обнаружилась. Прежде всего, некоторые виды деятельности без латыни являлись немислимыми: дипломатия, управление, правоведение, Церковь. Легко предположить, что все эти профессии и в прежние времена в социальном отношении занимали даже не средние ступени карьерной иерархии, а явно тяготели к верхним и очень высоким. Само гуманистическое образование фактически было элитарным, поскольку большая часть детей либо оставалась вне обучения, либо должна была ограничиться самой элементарной программой обучения — чтением да письмом. Дети ремесленников и крестьян должны были становиться ремесленниками и крестьянами, и чтобы продолжить дело дедов и отцов, им не слишком полезна была латынь, да и многих лет, которые на постижение классики тратили отпрыски состоятельных семей, они, конечно же, в своём распоряжении тоже не имели. Эту очевид-

ность и в XX веке (60-е годы) обнаружили П. Бурдьё и Ж.-К. Пассерон во Франции: «Количество студентов, изучавших латынь в средней школе, колеблется от 41 процента для детей рабочих и крестьян до 83 процентов среди детей управленцев и представителей свободных профессий»<sup>1</sup>. Разумеется, знание латыни в определённом смысле превратилось в некий опознавательный сигнал или знак принадлежности к числу избранных или особых, неординарных членов общества. Отсюда и обильное высмеивание фиктивной, необоснованной избранности в литературе — не только у Мольера, когда «*loquor latine говорю по-латински*» имплицитно «я — джентльмен». Неправильное и неумелое использование античного материала грозило потерей статуса, потому появлялись специальные издания вроде «*Flore latine des dames et des gens du monde*» — сборник античных цитат с пояснениями, как их употреблять, для всех тех, кто не был «обучен языку Цицерона» (издание вышло в 1861 году и до 1914 года переиздавалось шесть раз<sup>2</sup>. Надо заметить, что с точки зрения государственной политики в разных европейских странах такая специфическая черта классического образования (в которой сам предмет никак не повинен) постоянно вызывала не только тревогу, но и приводила к некоторым радикальным мерам дискриминационного характера. Испанский король Фердинанд VI резко сократил количество латинских школ, объявив их ответственными за упадок в стране: выпускники таких школ предпочитали церковную или административную карьеру, что невольно ослабляло ремесленничество и сельское хозяйство. В Пруссии без конца звучали призывы к организации образования по принципу *standesmaessig* — то есть в соответствии с тем местом, которое человеку (строго говоря — родителям) досталось в обществе, для сохранения преемственности и социального порядка. Архиепископ Бреславский заявлял, что «крестьяне, изучавшие латынь, во всех отношениях являются самыми неуправ-

---

<sup>1</sup> Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron. Les heritiers: les etudiants et la culture [Текст] / Paris, Editions de Minuit, 1985. P. 26–27.

<sup>2</sup> Pierre Larousse. Flore latine des dames et des gens du monde, ou clef des citations latines que l'on rencontre frequemment dans les ouvrages des ecrivains frances [Текст] / Paris, Larousse et Boyer, 1861. P. 29–30.

ляемыми»<sup>1</sup>. Ну и самый яркий пример — Франция, где сегрегация была узаконена ещё в 1810 году: все ученики, поступавшие в заведения, в которых преподавалась латынь, облагались специальным налогом. Когда испанские доминиканцы открыли учебное заведение в Мехико (1537 г.), в котором стали обучать и индейцев, надеясь на воспитание местной административной элиты, очень скоро обнаружили и проблемы: один из критиков, Херонимо Лопес, жаловался на то, что «индейцы обнаглели и не желают, чтобы с ними обращались как с рабами», объясняя всё это тем, что их научили латыни. Обстоятельно все эти исторические перипетии с отсылками к многочисленным документам изложены в работе Ф. Ваке<sup>2</sup>. Ещё раз придётся напомнить, что лингвистических оснований для сегрегации внутри общества объективно не существует, и только реальная сегрегация может иметь следствием такую специфическую функцию языка, как его вынужденное ограничение определённым сегментом социальной структуры.

Несколько модифицированную ситуацию можно наблюдать в отношении доступности «престижного» языка для европейских женщин, или, если говорить современным языком, в гендерном аспекте. Ещё в начале XVIII века в Европе широко распространилась поговорка: «Женщина, которая говорит по-латыни, никогда не кончит добром». Основанием для отстранения женского пола от древних языков являлся тот факт, что античная литература содержала в себе такие непристойности, какие никто не решился бы произнести вслух на любом из живых языков, а потому незнание латыни якобы охраняло женскую невинность. Так или иначе, но классические языки ученицам не преподавались, хотя вокруг этого вопроса всё время происходили споры. Конечно, латынь требовалась мужчинам в их профессиональной деятельности, чего нельзя сказать о женщинах, которым не

---

<sup>1</sup> James van Horn Melton. *Absolutism and the Eighteenth Century of Compulsory Schooling in Prussia and Austria* [Текст] / Cambridge University Press, 1988. P. 114–189.

<sup>2</sup> Francoise Waquet. *Latin or the Empire of a Sign. From the sixteenth to the twentieth centuries* [Текст] / Francoise Waquet: Translated by John Howe. London – New York: Verso, 2001. P. 218–223.

предстояло обучать людей, управлять государством, воевать, отправлять правосудие или лечить больных; участь женщины — быть внутри дома. В течение XIX столетия латынь постепенно была введена в учебные программы для девочек и аргументом в пользу нововведения ближе к середине века стала мысль о пользе знакомства с латинским языком будущих матерей и домохозяйек, которые тем самым будут иметь возможность наставлять своих сыновей хотя бы в азах предмета. В целом, исключение среди женского пола представляли собой монахини и благочестивые вдовы, молитвенная жизнь которых в глазах общества не просто вызывала одобрение, но и предполагала особую степень качества, для обычных людей мало возможную. Для них латынь это самое качество и должна была обеспечивать, дабы с Богом они говорили на понятном для них языке. Сама же благочестивость этих жён практически гарантировала тематические ограничения в выборе материала, так что всё то, что могло ранить их тонко чувствующие души, не должно было даже попадать в их руки. Если по известным соображениям постижение латыни женским полом рассматривалось как то ли бесполезное, то ли вредоносное, то по части пола противоположного это занятие наделялось, напротив, исключительно созидательным пафосом: латынь не только развивает мышление, но формирует характер, воспитывает вкус, приучает к умеренности и сдержанности.

Сказать, что латынь оставалась «мужским» языком, тоже неверно. Среди мужчин лишь ограниченная часть их была носителем такого «тайного» знания, и это обстоятельство порождало некое мистифицирующее свойство, приписываемое языку теми людьми, которые таким знанием не обладали. Латынь в этом случае выступает в качестве особого культурного рычага в руках людей, «управляющих миром»: это, прежде всего, язык аристократов, священнослужителей, учёных. Достаточно иллюстративна латынь врачей в литературных произведениях (снова вспомним и Мольера): врачующий выглядит куда убедительнее, если он о болезнях говорит непонятными для больного словами — латинскими и греческими, пусть на этом месте, как обычно бывает в литературе, стоит какая-нибудь абракадабра. По Европе и в прежние века ходили удивительные лекарства от всех бо-

лезней с названиями, перед которыми невозможно устоять: *Elixir magnum stomachum*, *Pilulae in omnes morbos*. *Pilulae radiis solis extractae* (экстракт солнечных лучей в пилюлях!), *Aqua coelestis* и прочее. К началу XIX века 80 процентов диагнозов в Англии выставлялось по-латыни, а ещё за 30–50 лет до этого семь из десяти диагнозов обозначались по-английски<sup>1</sup>. Примерно то же характерно для правоприменения, где вся сфера, включая судопроизводство, была занята латынью, так что обычный человек, не посвящённый в «язык Цицерона», обречён был раскошелиться, чтобы пользоваться услугами знатоков латыни, а уж те прекрасно понимали, каким бесценным даром они обладают. Естественно возникшая в таких условиях связь владения латинским языком со способностью и возможностью манипулировать людьми — не лингвистический феномен, а социальный, но язык невольно становится символом и инструментом власти и доминирования, включая даже семью, где мужу при желании возможно говорить жене по-латыни, оставляя её в неведении относительно содержания говоримого.

Не являлась исключением и высокая политика. Любопытный эпизод французской истории связан со строительством триумфальной арки у ворот св. Антония в 1670 году в увековечивание заслуг Луи XIV. Вопрос касался мемориальной надписи — быть ей на латинском или французском языке. Эта дискуссия продолжалась более десятилетия, и вовлечены в неё были не только члены Французской Академии и широкая интеллектуальная общественность, но и монарх. Сторонники латинской надписи уповали на вечность и универсальность латыни, видя в этом соразмерность великим свершениям короля. Противники настаивали на том, что родной язык способствует консолидации, единению народа, а сторонники латинского являются плохими французами. Сам король оказался во втором лагере, и в этой ситуации поддержка французского языка означала поддержку короля — сторонники короля взяли верх. Но это не было победой французского над латинским, поскольку строительство арки не

---

<sup>1</sup> Mary E. Fissell. *Patients, Power and the Poor in Eighteenth-Century Bristol* [Текст] / Cambridge University Press, 1991. P. 156–159.

было завершено, а возврат к традиции исполнять надписи по-латыни не заставил себя долго ждать. Подробное описание судьбы надписей во Франции можно найти в работе Ф. Ваке<sup>1</sup>. С одной стороны, латынь не могла не ассоциироваться с такими мощными аргументами, как язык Римской Империи, католической Церкви, учёности — бесспорно, сильными рычагами управления. Но с другой стороны, этот язык всё больше становился языком меньшинства, а действенность таких рычагов неуклонно снижалась. Во избежание фатального разрыва между правящими и управляемыми требовалось искать приемлемого баланса, и это уже являлось задачей государственной политики. В очередной раз нужно констатировать не имманентные качества языка, а приобретённое им символическое значение.

Вполне ожидаемо, что латынь выступает не только орудием подавления, управления и манипулирования, но и берёт на себя обратную функцию: она ограждает всех тех, кто не обладает соответствующей подготовкой, от нежелательных воздействий, обеспечивая им своего рода защиту (протекцию, если воспользоваться латинским термином). Аспекты подобной защиты актуальны во все времена, а использование другого языка в названных целях в социально значимых или всеобъемлющих масштабах встречается не так часто. Вернёмся к врачебному делу, где непонятное слово (диагноз, например) способно несколько заретушировать, смягчить восприятие даже крайне негативных реальностей. Кстати, эта традиция продолжает существовать в медицине и фармации. В таких случаях речь идёт о том, чтобы оберегать других. Возможно и обратное: кардинал Ньюман вёл дневник по-латыни, чтобы слуги не могли читать записи. Однажды он поссорился с одним из слуг и сделал резкую запись на латыни, а по прошествии некоторого времени он продублировал её, по обыкновению, в другом дневнике по-английски, но уже значительно менее эмоционально и резко<sup>2</sup>. Общим местом для

---

<sup>1</sup> Françoise Waquet. *Latin or the Empire of a Sign. From the sixteenth to the twentieth centuries* [Текст] / Françoise Waquet: Translated by John Howe. London – New York: Verso, 2001. P. 238–243.

<sup>2</sup> John Henry Newman. *Autobiographical Writings* [Текст] / edited by Henry Tristram, London, New York, Sheed and Ward, 1956. P. 151.

данной функции латинского языка была сфера отношения между полами — «язык запретного», всего того, о чём не принято говорить и писать. Не только университетские лекции по анатомии, хирургии, да и медицине в целом, прочно удерживали позиции латинского языка по соображениям *приличия*, но и обычное общение людей не допускало использование родного языка в столь деликатной теме, как сексуальность. Венский психиатр Рихард фон Крафт-Эбинг выпустил в 1886 году труд под названием «Сексуальная психопатия» — систематическое описание сексуальных перверзий. В главе «Противоположные сексуальные ощущения» он «по очевидным причинам» перешёл с немецкого языка на латинский. Этот пример — совершенно обычная практика прошлых веков. Так же обычны переключения с национального языка на латинский в католических богословских изданиях, когда содержание адресуется пастырям, дабы они им воспользовались надлежащим образом. Даже в XX веке (1953, 1976) в Германии издаются рассказы «Тысячи и одной ночи» с фрагментами на латинском языке с объяснением, что следующие строки являются настолько непристойными, что передать их по-немецки не представляется возможным<sup>1</sup>. В подобных ситуациях язык используется в особой функции — он призван вуалировать некоторые реалии, которые относятся к наиболее чувствительным аспектам в социальном измерении. Разумеется, все они могут быть именованы родным языком, более того, они безусловно доступны и в текстах на родном языке, но в таком случае они предназначаются для частного, то есть скрытого от других людей, употребления, в то время как публичная сфера их не допускает, то есть в определённом смысле табуирует. Если же потребности публичной коммуникации требуют их актуализации, на помощь приходит не родной, но никому не чужой, не всем доступный, но ни от кого не скрытый язык, умеющий *говорить о запретных вещах*.

Отслеживая историческую судьбу латыни, не следует упускать из вида и всё то, что происходит параллельно с этими про-

---

<sup>1</sup> Enno Littmann (Herausg.). Die Erzählungen aus den Tausendundein Naechten [Текст] /Wiesbaden, Insel, 1953. 365 S.



цессами. Если к середине XX века латынь и всё классическое образование сдадут свои позиции, то произойдёт это на подготовленной почве. А подготовка этой почвы происходит как раз на фоне картины, представленной выше. В то время как латынь выполняет свои специфические функции в культурном пространстве Европы, в частности в XIX столетии, национальные языки всё интенсивнее и смелее осваивают те же функции, а по мере того, как вновь освоенные функции перестают шокировать публику, другой язык становится излишним. По инерции, свойственной культурным процессам, ещё некоторое время он способен удерживать позиции, по крайней мере в образовании, неуклонно их ослабляя. Однако для культуры период ослабления и замирания языка не является простозначным. Культура естественным ходом фиксирует происходящее изменение уже в силу имманентной ей актуальности. В то же время культура выступает и транслятором накопленного опыта, а поскольку опыт ближайших предшествующих столетий не утрачивает актуальности для последующих поколений, то проблема рецепции культурного опыта требует наличия специальных механизмов дешифровки и интерпретации тех феноменов и реалий, которые, казалось бы, окончательно забыты. Но всё это уже удел профессионалов.

Поистине мировой размах, который судьбой был дарован латинскому языку, всё время заставлял интеллектуалов анализировать «за и против» этого языка в контексте претензий на абсолютную универсальность. Доводы сторонников опирались на основания, в главных чертах описанные выше. Доводы противников тоже хорошо известны: обилие склонений и спряжений, частотная нерегулярность парадигм, синтаксическая сложность, нередкая неоднозначность высказываний в контекстах. На этом фоне попытки конструирования искусственного языка, обладающего идеальным набором признаков (со времён античности подобных проектов было более двух тысяч), не могли обойти вниманием латынь как базу для искомой конструкции. Действительно, если говорить о XIX веке и первой половине XX, в области языкового планирования латынь постоянно оказывалась отправной точкой. В частности, в период между 1880 и 1914 годами создано 116 плановых языков; большая часть их опиралась

исключительно на латинский язык, меньшая часть кроме латинского использовала и другие языки (романские, германские, славянские). Хотя интенсивность создания новых плановых языков после I Мировой войны снизилась, эта деятельность по тем же базовым схемам не прекратилась: *Latino Viventi* (Турин, 1925), *Neo-Latinus* (Буэнос-Айрес, 1939), Универсальная латынь (Вена, 1947), Европейская латынь (Амстердам, 1948) — только некоторые из них. Ещё Я. Гримм отметил три достоинства латинского языка, ставящие его на особое место и делающие его привлекательным: во-первых, тот факт, что это мёртвый язык; во-вторых, его близость ко всем группам индо-европейской семьи; в-третьих, знание латыни многими, по крайней мере, образованными, людьми среди самых разных народов. Некоторые из искусственных языков получили довольно широкое хождение (вспомним хотя бы *эсперанто* Л. Заменгофа), но в целом поиски идеального философского языка ещё продолжают, теперь уже с опорой на теоретическое ответвление языкознания — интерлингвистику. А для снятия проклятия Вавилонского столпотворения, должно быть, не пришло ещё время.

Та многофункциональность, которая характеризует бытование латинского языка в европейском пространстве, вызвана к жизни условиями и причинами, не лежащими в самом языке. Язык «откликается» на соответствующий запрос и успешно справляется со стоящими перед ним задачами. Российская действительность XIX века подобных задач не ставила, а потому можно удивляться тому, какое прочное место латынь смогла занять в системе российского образования. *Latinitas* для России — заимствованный феномен. В социальном измерении в условиях российской жизни латынь не могла претендовать на те ниши, которые обозначены для европейской культуры. В российской истории отмечено уникальное культурное двуязычие, в котором во многом сходные функции (имеем в виду латынь в Европе) брал на себя французский язык. Латынь же призвана была сближать Восток и Запад, способствовать постепенному формированию общего культурного пространства. Что касается роли российской классической гимназии, то надо признать её значительный успех в решении названной задачи.

## ЛИНГВО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ АНТИЧНОГО ТЕКСТА

Восприятие античного текста или его фрагментов современным читателем (или слушателем) сопряжено с определёнными трудностями, которые должны быть названы в рамках соответствующей состоянию лингвистической науки парадигмы.

### АНТИЧНЫЙ ТЕКСТ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦИИ

**Автор.** Античный текст в восприятии современным читателем характеризуется специфической временной характеристикой: момент его создания и момент актуализации разделены тысячелетиями. В жизни людей античности и наших современников очень много различий — их легко усмотреть во внешних проявлениях жизнедеятельности (атрибуты быта, поведения, культурных форм), однако сложнее во внутренних аспектах (мировоззрение, нравственность, духовность и т.д.). Автор неизбежно принадлежит эпохе и культуре, но преломляет действительность индивидуально, так что естественным образом его творческая индивидуальность лишь в большей или меньшей мере способна фиксировать «общее культурное состояние». Используя язык современных направлений науки, можно провести параллель с базовыми установками лингвокультурологии, когда бесспорно признаётся реальность этнопсихолингвистических феноменов в целом, но возникают практически неразрешимые проблемы по линии взаимодействия *общего и отдельного*: какова обязательность представленности, к примеру, национальной черты в конкретном представителе данной нации. Статус *автора* очевидным образом доминирует по отношению к сообществу, которое автор представляет. Для рецепции и интерпретации, с одной стороны, полезно включение в контекст, с другой стороны, оно же способно существенно исказить действительность, которая трудно реконструируется или не реконструируется вовсе. В течение долгого времени такие проблемы решались, хотя

бы в пределах возможного, историко-критическим методом, не утрачивающим своей актуальности и ныне. Предельной убедительностью он не обладает, о чём с полной ясностью свидетельствует практика «*новых прочтений*» античных авторов даже в отношении таких важных фигур, как Платон и Аристотель. Тем не менее, веками именно так в европейской культуре транслировалось интеллектуальное богатство греко-римской цивилизации, причём следует отметить, что транслировалось с успехом.

**Текст.** Текст — продукт творческой деятельности автора, даже если помнить, что в середине XX столетия с автором обнаружатся проблемы его жизнеспособности. Текст не слепок с действительности, ей не изоморфен, однако сам он становится фактом культуры и начинает функционировать как её элемент. Тем самым, текст как авторское произведение (и таковым он продолжает оставаться) способен в некотором роде *отрываться* от своего создателя и аккумулировать смыслы уже не авторского происхождения, а непосредственного соседства с иными фактами культуры. Это соседство (парадигматико-синтагматические отношения) способно по-своему переинтерпретировать место и значимость текста, причём время, вероятно, является в этом процессе самым значимым параметром. Разрыв между авторским смыслом и новой интерпретацией может быть сокрушительным настолько, что вполне «переворачивает» авторский смысл и заново приписывает автору то, что ему не пришло бы в голову. В случае с античными текстами такая ситуация очень частая. Когда-то цитата из Ювенала «*Mens sana in corpore sano*» (*В здоровом теле здоровый дух*) несколько не утверждала, будто здоровое тело является залогом здорового духа, а представляла собой обращение к богам с просьбой наделить здоровым умом тех, кому его явно не хватает.

Вопрос о том, говорит ли текст что-то кроме вложенного в него автором, станет серьёзным вопросом в XX веке, когда стремительно станут менять друг друга то ли направления, то ли парадигмы. Структурализм, постструктурализм, постмодернизм (и многое ещё) обозначат новые ракурсы взгляда на текст, сформулируют новые вопросы и предложат определённые отве-

ты. Понятно, что много мнений и взглядов, скорее, не гарантия ясности и определённости, но точно — свидетельство сложности и непознанности такого феномена, как текст.

Способность текста «говорить чужими голосами» помимо автора была замечена очень давно, когда, например, в герменевтике рассматривалась интерпретация пророческих текстов, среди свойств которых есть и такая особенность, как озвучивание или письменная фиксация Божьего послания, остающегося неясным для автора, определяемого в данном случае известными внешними признаками. В библейской экзегезе тот тип дискурса, который традиционно именуется пророческим, изобилует примерами из Ветхого и Нового Завета. Если принять во внимание такую специфическую черту именно этого дискурса, то всё же остаётся возможность корреляции указанного механизма с текстами других типов.

Итак, после сложно интерпретируемого отношения автора к действительности, которое в какой-то мере должно оставлять след в его творении, намечается очередная трудность, вызванная тем обстоятельством, что текст «обрастает» связями внутри культурного пространства, в котором он функционирует, притом что эти связи уже не контролируются автором. Внешняя целостность текста не нарушается, а для простора интерпретаций открываются всё новые возможности.

**Читатель.** Спецификой коммуникации в данном случае является длительный временной разрыв между актом продукции текста и актом его рецепции. Именно читатель пребывает в актуальном времени, что создаёт иллюзию превосходства возможностей интерпретации. Эта иллюзия рождается из объективной ситуации: когнитивный фон, в котором пребывает интерпретатор, включает в себя определённые «отработанные» ходом истории схемы и модели восприятия. Иными словами, если античность принадлежит столь далёкому прошлому, каковому она и действительно принадлежит, то схемы интерпретации такого прошлого по определению являются достоянием современности, а потому потенциально открыты для читателя. В теоретическом отношении для оправданности подобного ожидания мно-

жество оснований, но все они, как кажется, перекрываются единственной оговоркой: потенциальная открытость на деле почти всегда оборачивается реальной закрытостью, преодоление которой предполагает длительный по времени и изнурительный по затратам труд современного человека.

Своеобразную роль в *затемнении* интерпретируемой ситуации играет языковой знак, который одной своей стороной, а именно совпадающим экспонентом, отсылает к несопадающим денотатам и сигнификатам, но их несопадение для обычного человека не является само собой разумеющимся. Такого рода затруднение разрешается только специальным знанием, хотя особо проницательный читатель зачастую ощущает *нечто несопадающее* в древнем и современном законосителе. Однако нормой при восприятии становится сознательная подмена содержательного плана древнеязыкового знака в сторону осовременивания, в результате чего в античный текст «вживляются» не присущие ему изначально значения. В таком случае доминантное положение читателя действительно проявляет себя, но одновременно обнаруживается и его «творчество» — он то ли домысливает, то ли искажает содержание текста, практически оказываясь заложником способности языкового знака эволюционировать.

Наконец, перед читателем на самом деле разворачивается вся сложнейшая линия отношений, фиксируемая текстом: *автор — античность — текст*. Отдельные грани этих отношений могут иметь решающее значение, но текст не обязан содержать в себе специальные сигналы, которые позволяли бы читателю концентрироваться на том или ином аспекте. Как правило, эти аспекты размыты, представлены синкретично.

Все отмеченные особенности предполагают трудности рецепции и интерпретации античного текста современным читателем, но все они с достаточной ясностью указывают и на способы преодоления этих трудностей. Одним словом, всё это при желании можно узнать и учесть, чем на протяжении столетий и занималось европейское образование, включая российскую классическую гимназию. Сегодня классическое образование окончательно утратило былую популярность. Значит ли это, что и ан-

тичный текст окончательно «закрывается» для нашего современника, оставляя ему единственную возможность заполнять такой текст собственным произвольным содержанием?

**Текст в тексте.** Несметные богатства античной словесности «разошлись на цитаты», практически оборвав связи с контекстами, в которых они родились. Сожалеть об этом решительно бесполезно, поскольку единственная польза, которой учит указанное обстоятельство, заключается в чётком осознании того, что текст способен распасться на множество текстов и что бывшие части целого могут жить своей собственной жизнью, порой затмевая и то целое, от которого части оторвались.

Достаточно часто можно наблюдать, как новые интерпретации рождаются при использовании фрагментов античных текстов (цитировании). С давних пор использование античных фраз с целью аргументации тщательно воспитывалось в риторике, а поскольку цитата не в состоянии воспроизводить и контекст, из которого она изымается, она легко становится объектом *манипулирования*, когда новый контекст (то есть актуализация) проецирует на неё новое содержание. К примеру, одна из типовых ситуаций: «Ясный ум, чистая совесть, великодушное сердце — таков трёхчастный идеал, воплощённый всеми литературными гениями Рима; и как бы ни звали их — Цицерон, Вергилий, Гораций или Тацит — все они в том, что сказано одним из героев Теренция: *Homo sum, humani nihil a me alienum puto* (Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо)»<sup>1</sup>. Ещё в восемнадцатом веке это высказывание стало интерпретироваться как выражение идеи космополитизма и человеческой (*humanum!*) солидарности, о чём, разумеется, никогда не приходило в голову ни Теренцию, ни его персонажу.

Отмеченная способность античных текстов, как правило в виде фрагментов, существовать независимо от оригиналов ценность самих оригиналов никак не ставит под сомнение, обычно эти «двойники» даже не соперничают. Они особым образом де-

---

<sup>1</sup> Lucien Sausy and Robert France, *Grammaire latin abregée*, revised and augmented sixth edition, Paris, Librairie Fernand Lanore, undated (c. 1959). P. viii.

лят пространство, в котором функционируют: есть читатель, для которого ценность оригинала остаётся искомой; есть другой читатель, для которого эта ценность не интересна. Каждый прав по-своему. Группа первого рода крайне сужена, в то время как группа второго предельно широка.

Когда же речь заходит о традиционном профессиональном анализе текста, ситуация усложняется предельно, поскольку для интерпретации открываются несколько «слоёв» переработки информации: (автор — античность — текст) «пропускается» через ещё одного автора, который сам сопряжён с действительностью и текстом, после чего всё это переплетение становится достоянием читателя. Текстовые формы могут скрывать те или иные звенья этого сложного взаимоотношения, однако в логическом плане все они так или иначе реализуются.

**NANO-читатель.** Если вернуться к вопросу, как же быть современному читателю, не познавшему язык Гомера и Вергилия, то ответ подсказывается сам собою: читатель практически бессилен осваивать античный текст. В целом так и происходит, поскольку античные авторы всё более выталкиваются на периферию читательского интереса. Эту тенденцию в полной мере можно отнести и к профессиональной подготовке филологов, где место классической литературы и классических языков неуклонно теряет значимость. Соппротивление указанной тенденции по силам только отдельной личности, если окажется действительно *по силам*.

В массе своей современный читатель, случись ему заставить себя прочесть греческого или латинского автора, сделает это без видимых проблем, словно бы и не нужна никакая специальная к этому подготовка. Понятно, что в этом случае не идёт речь о *качестве* чтения и глубине проникновения в текст. Современный читатель преимущественно автономен, а в своей автономности из потребности самосохранения он обречён испытывать комфортность. Невольно хочется всерьёз думать о таких теоретических построениях, которые как-то пытаются подвести основания под неизбежную читательскую автономность. Среди известных и популярных, к примеру, *теория читательского от-*



клика второй половины XX века. Наиболее полно и подробно в умеренном варианте эта теория разработана Вольфгангом Изером<sup>1</sup>. «В основе его лежала идея о том, что определяющая роль в создании смысла принадлежит *читателю* или *читателям*. Смысл текста рассматривался уже не как творение автора или производная самого текста, или даже результат их взаимодействия, а как плод совместных усилий *текста и его читателей*. *Реакция читателей на текст* стала считаться главным источником и определяющим фактором его смысла»<sup>2</sup>. Поскольку реакция на текст отмечается при любых обстоятельствах, то правота читателя оказывается гарантированной, а в таком случае сам собой отпадает вопрос о том, нужно ли обучать искусству чтения. И пусть на самом деле теория читательского отклика не так проста и прямолинейна, она всё же чётко обозначает теоретический вектор по направлению к всё большей автономизации читателя, в которой ему всё меньше нужна профессиональная помощь филолога.

Хочется вспомнить, что Г.Г. Гадамер призывал *прислушиваться* к тексту, а чтобы к нему прислушаться, необходимо к нему подойти с *ожиданием*, как призывал Г.Р. Яус. Эти принципы библейской герменевтики, вероятно, универсальны и для интерпретации небиблейских текстов.

Ю. Н. Варзони

---

<sup>1</sup> Wolfgang Iser, *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978). Pp. 112–159.

<sup>2</sup> Тиссельтон Э. Герменевтика. Пер. с англ. Черкассы: Коллоквиум, 2011. С. 35–36.

## КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ АНТИЧНОЙ ЦИТАТЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Когнитивно-дискурсивный подход (часто говорится о когнитивно-дискурсивной парадигме в лингвистике) основывается на самых современных достижениях (не только) гуманитарных наук; его интенсивное становление относится преимущественно ко второй половине XX века. В основе подхода лежат базовые функции языка — когнитивная и коммуникативная, притом что как первая, так и вторая, несмотря на необходимое искусственное разделение, мыслятся в своём естественном единстве. Исторически получилось так, что коммуникативная функция раньше стала объектом пристального изучения в современной лингвистике и в некоторой степени именно ей всё ещё принадлежит доминирующее значение. Однако новейший этап в лингвистике и многочисленных смежных отраслях стремительно накапливает знание, позволяющее надеяться на установление определённого баланса между когнитивной и дискурсивной составляющими и окончательное становление контуров когнитивно-дискурсивного анализа. Основные тенденции такого анализа достаточно ясно просматриваются и сегодня. Сошлёмся на типичное определение: «...модель [описания дискурса] включает характеристику социокультурных (условия бытования), коммуникативных (коммуникативная ситуация и её жанровое воплощение), когнитивных (концептуальные структуры) и языковых особенностей»<sup>1</sup>. В данном случае предпринимается попытка применить схему анализа к столь специфическому явлению, как использование античных цитат в художественном тексте.

Следуя предложенной схеме движения, мы обратимся к широкому контексту бытования рефлексов античной культуры в современности. Подробно эта проблема рассмотрена ранее. В целом роль античного элемента в европейском образовании ха-

---

<sup>1</sup> Эмер Ю.А. Фольклорный дискурс: когнитивно-дискурсивное исследование [Текст] / Ю.А. Эмер // Вопросы когнитивной лингвистики. 2011. № 2(027). С. 51.

рактируется исключительной важностью по значению и экстенсивностью по объёму в XIX веке. К концу века постепенно удельный вес античной словесности в образовательных программах снижается, а в XX веке этот процесс происходит почти повсеместно галопирующим темпом. К началу XXI века совсем не обязательным становится хотя бы поверхностное знакомство студента-филолога с латинским и древнегреческим языком. Античная словесность всё более выталкивается на периферию гуманитаристики даже не столько в силу объективного снижения её значимости, сколько в силу объективно растущей интеллектуальной сложности взаимодействия с ней для современного человека. Постепенно формируется представление о том, что время от времени попадающиеся на глаза человеку античные вкрапления в виде цитат и ссылок — не более, чем общепринятый в литературе приём использовать при необходимости иноязычные фрагменты различной протяжённости. На фоне этого, не противоречащего действительности, факта, под корень уничтожается непреходящее культурное значение античной словесности для сегодняшней Европы, да и не только для неё. Здесь почти полностью перекрывается доступ к семиотическому, знаковому пространству, в котором античная культура не просто продолжает бытовать, но в котором её бытованию ничто и не может угрожать. А вот степень проницаемости античного наследия для современного европейца резко снижается, что не лучшим способом отражается на его культурной самоидентификации. Бесконечные богатства мировой художественной литературы, возможно, в самой высокой мере подвержены угрозе «порчи» читателем и потому, что чтение — самый сложный (но и продуктивный) вид обработки информации, и потому, что проникновение на достаточную глубину в контекст литературного произведения становится объективно сверхтрудным. Ожидаемым эффектом подобного чтения становится ощущение чужеродности текста, за которым следует ощущение чужеродности контекста, а затем и самое печальное — исключение всего этого чужеродного из персонального культурного пространства. Итог закономерный, хотя и разрушительный, потому что непризнание собственных корней не просто несправедливо, оно ещё и

заставляет человека понимать своё отношение к культуре исходя из ошибочных посылок. В своей замечательной книге А.В. Успенская, исследуя мотивы, образы и идеи в отношениях между античностью и русской литературой, замечает: «История взаимодействия двух литератур [русской классической и античной], возникших в разные исторические эпохи, на разных географических широтах, способна пролить свет на важные особенности и общие закономерности существования русской литературы в контексте мирового литературного процесса»<sup>1</sup>. Автор исследует связи с античностью в творчестве Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова, Л.А. Мея, Н.Ф. Щербины, Я.П. Полонского, А.К. Толстого, Н.С. Лескова, И.С. Тургенева, И. Бродского. Увы, но в настоящее время приходится говорить уже не о трудностях усмотрения античных мотивов, образов и идей в русской классической литературе, а о трудностях восприятия самой русской классической литературы с её мотивами, образами и идеями. Здесь путь, пройденный античной словесностью в образовании XX века, похоже, повторяется.

Отчуждение античной словесности на периферию актуального знания открывает несколько неожиданные возможности для художественного творчества (если это, конечно, может быть так названо). 7-го октября Пятый канал ТВ (Санкт-Петербург) предложил поклонникам детективного сериала «След» (в семиотическом смысле тоже художественный текст) историю «о пользе знания латыни» (как оказалось, наши лучшие мастера расследований, разумеется, латынью владеют). Главную героиню (она возглавляет ФЭС) похищает группа бандитов, главарь которой имеет огнестрельное ранение. Героиня должна в кустарных условиях сделать операцию. За необходимыми медикаментами в город отправляется посыльный. Фармацевт обнаруживает в длинном перечне медикаментов три несуществующих препарата: тифин, нонпаксин, кверкулин. Фармацевт сообщает названия сыщикам, а сыщики расшифровывают эту тайнопись: *tyrho* — рогоз, а фамилия главной героини — Рогозина; *non* — не, *rah* —

---

<sup>1</sup> Успенская А.В. Античность и русская литература: мотивы, образы, идеи [Текст] / А.В. Успенская. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008. С. 3.

мир, а фамилия главаря — Немиров; *quercus* — дуб, следовательно, искать их надо в деревне Дубки. Всё остальное происходит стремительно. Любопытно, что столь незначительная в лингвистическом отношении деталь (три корневых морфемы и некоторая осведомлённость в морфологической структуре фармацевтических терминов) вырастает в интригу, удерживающую целое повествование. Однако приём этот известен, и он относится к языку художественного творчества. А вот придание этой детали заведомо преувеличенной интеллектуальной ценности однозначно свидетельствует об изгнании из нашей культуры необходимого минимума элементов античной словесности. Некое (к сожалению, не определяемое более конкретно) знакомство с такими элементами становится своего рода «тайным» знанием, отличающим его носителя от других людей, наделяющим его каким-то особым, почти паранормальным, свойством. Заканчивая разговор об условиях бытования рефлексов античной культуры в современном культурном пространстве, следует отметить, что эти условия характеризуются, с одной стороны, непреходящей генетической важностью античности и, с другой стороны, стремительным ослаблением рецептивной способности к этому генетическому родству со стороны современного человека.

Обращаясь к коммуникативным характеристикам рассматриваемого явления, имеем в виду, что «дискурсивно значимыми параметрами являются цель дискурса, коммуникативные стратегии, участники дискурса, ситуация общения, жанры»<sup>1</sup>. В теоретическом отношении данные категории являются всесторонне разработанными, а непосредственное использование их в анализе предполагает, прежде всего, обращение к конкретному материалу. Весь круг названных вопросов связан с человеком-пользователем языка (в семиотической триаде Ч. Морриса это область прагматики, то есть отношения знака и человека). «В обыденной речи — отношение говорящего к тому, что и как он

---

<sup>1</sup> Кузнецов В.Г. Исследование дискурса в Женевской лингвистической школе [Текст] /В.Г. Кузнецов // Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № 1 (022). С. 36.

говорит: истинность, объективность, предположительность речи, её искренность или неискренность, её приспособленность к социальной среде и к социальному положению слушающего и т.д.; интерпретация речи слушателем — как истинной, объективной, искренней или, напротив, ложной, сомнительной, вводящей в заблуждение; в художественной речи — отношение писателя к действительности и к тому, что и как он изображает: его принятие и непринятие, восхищение, ирония, отвращение; отношение читателя к тексту и в конечном счёте к художественному произведению в целом — его истолкование как объективного, искреннего или, напротив, как мистифицирующего, иронического, пародийного и т.д.»<sup>1</sup>. Поскольку фрагмент античной словесности оказывается внутри художественного текста, некоторые специфические параметры ситуации приобретают особую значимость. Несмотря на широко распространённую практику использования художественного текста для моделирования эпизодов естественной коммуникации (и внешнее сходство в таком случае вряд ли можно поставить под сомнение), всё же изнутри очень сходная форма наполнена принципиально неодинаковым содержанием. «Литературный дискурс семиотически может быть определён как дискурс, в котором предложения-высказывания и вообще выражения интенционально истинны, но не обязательно экстенционально истинны (экстенционально неопределенны). Это дискурс, интенционалы которого не обязательно имеют экстенционалы в актуальном мире и который, следовательно, описывает один из возможных миров»<sup>2</sup>. Совершенно очевидно, что между реальным миром и миром возможным предполагается некий зазор, глубина которого может варьировать в очень широком диапазоне. Но именно он создаёт неповторимый колорит литературного произведения, в котором, если вдруг окажется античная цитата, и ей отводится какое-то особое значение, выявление которого становится непростой задачей воспринимающего (читателя). Источник трудности, как

---

<sup>1</sup> Степанов Ю.С. В мире семиотики [Текст] / Ю.С. Степанов // Семиотика: антология; сост. и общ. ред. Ю.С. Степанова. М.: Деловая книга, 2001. С. 29.

<sup>2</sup> Там же. С. 22.

легко предположить, — автор, но тем напряжённее оказывается сам коммуникативный процесс, в котором с одной стороны выступает автор, моделирующий свой возможный (фиктивный) мир, а с другой стороны — читатель, которому предстоит взять труд и получить (возможное) удовольствие в большей или меньшей мере сориентироваться в сюжетных перипетиях. Очень часто вместе с античной цитатой в текст экстраполируется и античный контекст (такого рода интертекстуальность), что ситуацию предельно усложняет. Если читатель не обладает предварительным знанием и если цитата в тексте это знание не восполняет (в норме обычным делом является и первое, и второе), то шанс на усмотрение в тексте невидных, глубоких слоёв содержания резко снижается или утрачивается вовсе. Кроме сложности опознания самого фрагмента античной словесности следует не забывать о том, что автор и этот фрагмент подвергает творческой, то есть собственной, обработке, так что между авторским прочтением и прочтением в традиции античной культуры также возможно несовпадение. Понятно, что все названные трудности никаких фатальных последствий иметь не должны и не могут, они лишь свидетельствуют о том, насколько сложна, а вместе с тем и конструктивна в плане развития личности, коммуникация «автор — читатель». Кроме того, всё это говорит и о том, что чтению необходимо обучать долго и много (правда, вряд ли в этом кто усомнится).

По существу, уже схемы взаимодействия автора и читателя в различных модификациях выходят за рамки коммуникативной составляющей дискурсивного анализа. «В хронологическом плане коммуникативный подход предшествовал когнитивному и был заложен в таких направлениях, как лингвистика речи и лингвистика текста. Когнитивный подход был стимулирован изучением экстралингвистических факторов конструирования различных видов дискурса»<sup>1</sup>. Однако совершенно очевидно, что такие экстралингвистические факторы тесно соприкасаются и с

---

<sup>1</sup> Кузнецов В.Г. Исследование дискурса в Женевской лингвистической школе [Текст] /В.Г. Кузнецов // Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № 1 (022). С. 30.

центральными параметрами коммуникативного подхода. Как бы то ни было, когнитивный подход, во многом беря на себя интегративную функцию, объединяет в себе достижения предшественников, приспособлявая их к работе на собственные цели. «Влияние когнитивной научной парадигмы на понимание текста и дискурса обусловлено (...) тем, что когнитивная лингвистика стремится объяснить языковые явления посредством моделирования процессов их формирования и функционирования. Сложность речевого произведения как коммуникативного явления заключается в том, что оно (речевое произведение) в каждый момент времени существует одновременно и как снятый результат речевой деятельности человека, и как некая абстрактная программа формирования речевого сообщения. Такая программа должна учитывать не только то смысловое содержание, которое автор сообщения планирует передать в процессе коммуникации, но также способы передачи информации и конкретные условия коммуникации (особенности коммуникативной ситуации, характеристики участников, контактный или дистантный канал коммуникации и др.)»<sup>1</sup>. Когнитивный подход имеет и собственный обширный терминологический аппарат, который, тем не менее, так или иначе предназначен для исследования идеологии речевого произведения (ценностный аспект) и соотношения его с концептосферой (концептуальный аспект). В случае художественного произведения автор самостоятельно определяет свои отношения с ценностями и концептами (и это отношение должно становиться предметом рефлексии со стороны читателя); однако когда речь заходит о ценностях в рамках общества (к примеру, в масштабах этноса) или о концептосфере (к примеру, национальной), то их отдельные элементы очень часто выступают в виде конкретных авторских определений, формулировок и т.д. Здесь, похоже, возможный мир автора пересекается с реальным миром.

И социокультурные предпосылки, и коммуникативные параметры, и когнитивные структуры находят своё выражение в

---

<sup>1</sup> Беляевская Е.Г. Когнитивные параметры стиля [Текст] / Е.Г. Беляевская // Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № 1(022). С. 24.



языковой форме. Если такой языковой формой оказывается античная цитата, то автору, её использующему, представляется это необходимым — впрочем, не станем забывать, что у неё, как правило, есть и собственный автор. За иллюстрацией обратимся к великолепному роману Клайва Стейплза Льюиса «Кружной путь, или Блуждания паломника» (в очень сложной форме автор рассказывает о своём трудном обращении в христианство)<sup>1</sup>. Один из наиболее колоритных персонажей, м-р Трутни, периодически вставляет в свои реплики перлы античной словесности (кстати, большей частью цитаты из Горация): *omnes eodem cogimur* (мы все гонимы в Царство Подземное) (с. 98); *coelum, non animam mutamus* (небо, не душу меняем) (с. 100); *et in Arcadia ego* (и я был в Аркадии) (с. 100); *eadem est omnia semper* (всё одинаково всюду) (с. 101); *auream quiquis* (выбрав золотой середины меру) (с. 102); *dapibus onerabat mensas ineptis* (он уставлял стол неподходящей пищей) (с. 104); *cras ingens iterabimus* (завтра опять в беспредельное море) (с. 106). Хотя характеризуемый персонаж отличается особой сложностью, хотя весьма быстро возникает иллюзия неприязненного отношения к этому персонажу (в восприятии читателя и, кажется, автора), всё же какая-то внутренняя энергия заставляет удерживать себя от окончательных (и простых) оценок. Нельзя сомневаться в том, что автор вкладывает в уста своего героя изысканные «цветы красноречия», не имея в виду его характеризовать, — напротив. И более всего должно казаться, что всё это красноречие выдаёт только праздность, а сам герой — абсолютная противоположность пути, по которому должен идти герой-автор. Всё бы и могло быть так, если бы не любопытный факт: в книге ещё только автор (причём не тот Я, которым он говорит в тексте) говорит по-латыни и по-гречески. Здесь, кроме прочего, «говорят» Платон и Бозций, Пиндар и Аристотель, Вергилий и Гесиод — почти антология античных авторов. Понятно, что все они как-то моделируют концептуальный мир автора, в который он погружает своих героев и грани которого должны специфически

---

<sup>1</sup> Льюис К.С. Кружной путь, или Блуждания паломника [Текст] : роман / К.С. Льюис; [пер. с англ. Н. Трауберг]. М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. 256 с.

проецироваться на их образы. При любых обстоятельствах не заметить такого непрозрачного параллелизма не представляется возможным, а потому поначалу легко прочитываемые отношения к персонажам неизбежно требуют пересмотра, и категоричность оценок утрачивает свою фундаментальность.

Если читатель не приходит к окончательным оценкам и выводам, соприкасаясь с художественным текстом, то вряд ли плох читатель, может быть, хорош текст?

Множество вопросов сейчас остаётся без ответа. Но в целом видно, что принципиальные схемы современного когнитивно-дискурсивного подхода приложимы к анализу художественного текста и перспективны для него. Учитывая, что когнитивно-дискурсивный подход представляет собой очень широкую область знаний, которая в полном объёме не может быть применена для каждой конкретной цели анализа художественного текста, такая конкретная цель должна достигаться через отбор всех релевантных опорных схем и понятий названного подхода, так чтобы базовые контуры когнитивно-дискурсивной парадигмы оставались сохранёнными. В данном случае предпринималась попытка осуществить такой отбор для анализа античной цитаты в современной художественной литературе.

*Ю. Н. Варзони*

## СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА АНТИЧНОЙ ЦИТАТЫ В ТЕКСТЕ И ДИАЛОГЕ

В сетке вещания радиостанции «Комсомольская правда» существует рубрика «Уроки русского». В течение полуминуты или около того звучит поучительный, занимательный, познавательный текст, поясняющий происхождение и современное употребление того или иного оборота речи, большей частью фразеологизмов. Сами сюжеты с определённой периодичностью повторяются, а с учётом того, что содержательно они соответствуют достаточно высоким стандартам, не мала вероятность надёжного закрепления в памяти озвучиваемой информации. Среди сюжетов встречаются и прочно вошедшие в русское языковое пространство элементы античной словесности. С некоторых пор в этой рубрике появилось упоминаемое в сочинении Гая Транквила Светония «Жизнь двенадцати Цезарей» изречение «*Resunia non olet*». Император Веспасиан обложил налогами общественные уборные в Риме, что вызвало бурное возмущение у его юного сына. Тогда отец бросил сыну монетку и спросил, пахнет ли она. Ныне, как сообщается в комментариях, эти слова произносятся в том случае, если деньги добыты не совсем честным путём. Следует отметить, что со стороны радиостанции это безусловно полезное и доброе начинание. Приведённый фрагмент способен продемонстрировать сложность и объёмность такой проблемы, как бытование вполне опознаваемого авторского высказывания в культурном пространстве.

В силу разнообразных, не всегда понятных и известных причин, некое высказывание становится цитируемым — этот аспект оставляем в стороне. С точки зрения семиотики цитата представляет собой знак, включающий в себя план выражения и план содержания. Любопытно, что совсем не обязательным условием бытования остаётся конкретно языковое (материальное) воплощение плана содержания: «деньги не пахнут» всегда говорится по-русски, притом что «*casus belli*», «*amore, more, ore, re*», «*gaudeamus igitur*» и многое другое требуют исключительно ла-

тинского языка. Вряд ли такой факт может быть объяснён слишком высокой значимостью «запаха» денег и большей адаптацией этого речения в родной культуре. Начальные слова студенческого гимна могли бы точно составить конкуренцию деньгам уже потому, что через студенчество проходит огромное число людей, в памяти которых остаётся если не весь текст, то хотя бы первая строка. Однако буквальный перевод этой строки — «Давайте веселиться» — вообще не способен вызвать нужную ассоциацию. Наконец, часть античных афоризмов занимает своего рода среднее положение, когда одинаково годится и латинская, и русская языковая форма (конечно, с учётом стремительного исчезновения античной компоненты из современного образования можно предполагать, что латинская форма будет уступать русской и когда-то практически исчезнет). В качестве примера можно вспомнить «*Alea iacta est*» или «Жребий брошен».

План содержания подобного знака, разумеется, включает денотативную и сигнификативную составляющие. Удивительно, но в культуре они «живут» самостоятельной жизнью. Что касается денотата, то в данном случае таковым является ситуация-событие, зафиксированное Г.Т. Светонием. На протяжении многих столетий сочинение Светония входило в обязательный список авторов, с которыми европеец должен был познакомиться близко. Похоже, те славные времена европейской учёности безвозвратно ушли в прошлое, и современный человек вовсе не обязан знать ту самую ситуацию, которая породила известное высказывание, если, конечно, он случайно не окажется слушателем какой-нибудь озабоченной просветительством радиостанции. При отсутствии знания о денотате сохраняется ли знак? По крайней мере, можно уверенно утверждать, что знак, ставший таковым при определённых условиях (то есть в процессе семиозиса), не деформируется до тех пор, покуда сознательно транслируется сложившаяся связь между означаемым и означающим. В данном случае правомерно говорить о бытовании именно данного знака, его идентичности.

Сигнификат, в свою очередь, неотрывно связан с денотатом и их языковым воплощением. Если вернуться к поучительному

эпизоду общения Веспасиана со своим сыном, то само событие никаким образом не подразумевает чего-либо незаконного или нечестного. Обложение налогом не являлось с точки зрения закона его преступлением, поскольку эти заведения находились в одном ряду с другими (в наше время это никого не способно удивить, так что Веспасиан, похоже, смотрел не века вперёд). Г.Т. Светоний не сообщил, что так сильно сына задело в поступке отца, но почти нельзя сомневаться, что это и был специфический запах общественных туалетов, на который так лаконично и метко указывает языковая форма адресованного сыну риторического вопроса. Кроме прочего, есть и не подвергающийся усмотрению психологический контекст отношений отца и сына, их манеры общения, индивидуальных особенностей и так далее. Важно здесь именно другое — отсутствие той самой нечестности, или не совсем честности, которая связывается с цитатой в наше время. Значит ли это, что сигнификат перестал быть прежним?

Итак, языковая форма в рассматриваемом примере оказалась устойчивой и нетронутой (если не принимать во внимание перевод, хотя он сам по себе делает цитату уже фактом другого языка, а далее и фактом другой культуры). В структуре знака на месте денотата образуется когнитивный вакуум, который должен либо разрушить знак, либо заполниться неким иным денотатом, что фактически и происходит. Мышление позволяет легко это сделать, причём в его распоряжении столь универсальные средства, что проблему практически не заметить: достаточно прибегнуть к спасительному обобщению «*Кто-то* сказал это». Понятно, остаётся вероятность узнать, кем был этот кто-то, но вероятность не является препятствием для пользователя знака, по крайней мере, присвоенного им знака. В конце концов, для пользователя куда важнее, что цитата значит. Оторванная от своего исконного денотата языковая форма обладает естественной способностью переозначивания, в результате чего отрывается и от своего исконного сигнификата. То есть тот знак, который восходит к описанному Светонием эпизоду, не является знаком, который наличествует в современной культуре. Точнее будет сказать, что в ней соседствуют и тот, и другой. Такое со-

седство будет продолжаться до тех пор, покуда условия семиозиса первичного знака не окажутся преданными забвению, что теоретически возможно. После того вторичный знак станет полностью знаком другой культуры.

Различение интенционала и экстенционала в семантике также проясняет способность трансформаций внутри знака. «Под интенционалом вообще понимается совокупность семантических признаков, а под экстенционалом — совокупность предметов внешнего мира, которые — если говорить не об их существовании, а об их определении — определяются этой совокупностью признаков. (Иногда говорят, что интенционал — это содержание, а экстенционал — это объём понятия...) Интенционалы занимают срединное положение между выражениями языка и предметами внешнего мира»<sup>1</sup>. Если анализ начинается от экстенционала, то ему могут соответствовать различные интенционалы и языковые выражения; важно, чтобы все они были пригодными для идентификации этого экстенционала, поскольку те же языковые выражения способны соотноситься с иными экстенционалами и порождать новые определения, то есть интенционалы. Таким образом, для сохранения целостности знака привязка к экстенционалу оказывается необходимой и вопрос о том, сохраняет ли знак свою идентичность при забвении экстенционала, встаёт заново. Если же поиск значения идёт не от экстенционала, то языковое выражение и интенционал легко заполнят при необходимости место экстенционала, когда он не может быть установлен однозначно.

Интенционал порождает «возможный» мир, который может не иметь ничего общего с реальностью. Роль интенционала высока и значительна в литературе, и здесь уместно напомнить, что большая часть античных цитат восходит к литературным источникам. «Литературный дискурс семиотически может быть определён как дискурс, в котором предложения-высказывания и вообще выражения интенционально истинны, но не обязательно экстенционально истинны (экстенционально неопределённые).

---

<sup>1</sup> Степанов Ю.С. В мире семиотики [Текст] / Ю.С. Степанов // Семиотика: антология; сост. и общ. ред. Ю.С. Степанова. М.: Деловая книга, 2001. С. 20.

Это дискурс, интенционалы которого не обязательно имеют экстенционалы в актуальном мире и который, следовательно, описывает один из возможных миров»<sup>1</sup>. Отмеченная особенность совсем не означает, что связь интенционала с экстенсионалом произвольна и необязательна, ведь в свою очередь литературный текст сам становится «вещью» в мире, а соотношение интенционала с экстенсионалом в известной мере объективируется — отсюда следует, что всё-таки знание этой связи для пользователя необходимо. Однако вместе с тем здесь же утверждается, что интенционал может стать источником производства нового экстенционала, для чего необходимо наличие интерпретации, порождённой языковым выражением в индивидуальном (и даже новом авторском) сознании. В этом случае под интерпретацию «подстраивается» более или менее устойчивый экстенционал. Совсем не исключено, что новое означивание станет конкурировать с прежним или даже затмит его. В той же радиорубрике звучит рассказ о том, как высказывание Плавта «*Nomo homini lupus est*», совсем не утверждавшее «волчьи нравы» в человеческих отношениях, стало указывать именно на это благодаря переинтерпретации (новому интенционалу) Дж. Локка. Новый контекст (новый ли знак?) окончательно заслонил собой прежний, и теперь даже с Плавтом может связываться то значение, которого он вовсе не знал.

Если на проблему смотреть со стороны прагматики, то пользователь знака обладает преимущественным правом подвергать его переинтерпретации — такова естественная коммуникация. Ограничен пользователь только необходимостью быть восприимчивым и понятным — это требование единственно удерживает его от ничем не ограниченной произвольности интерпретации знака в отношении плана содержания. Понятие интертекстуальности способно эту ситуацию прояснить. «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нём на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах; тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из

---

<sup>1</sup> Там же. С. 22.

старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д. — все они поглощены текстом и перемешаны в нём, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предварительное условие для любого текста интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек» (Р. Барт)<sup>1</sup>. Надо признать, что функционирование, в том числе, античных цитат вполне согласуется с приведённым классическим определением понятия интертекстуальности, которое полностью оправдывает возможность безгранично вольных истолкований цитат (правда, в строгом смысле цитатами их назвать уже нельзя, поскольку цитата предполагает известную точность; с цитатой новую интерпретацию объединяет теперь только материальное сходство, то есть языковая форма). Параллельно с этим никуда не исчезает возможность использования в коммуникации цитаты в строгом смысле, когда сохраняются исконные условия семиозиса, включая и их повторные интерпретации при условии, что они обретают в дискурсивной практике черты устойчивости (как в случае с Дж. Локком). Со знаком пользователь имеет дело и в том, и в другом варианте, хотя и не совсем ясно, с одним ли и тем же. Кроме того, в диалоге возможно столкновение этих вариантов, которое, скорее всего, спровоцирует снижение уровня взаимопонимания.

Когда исходят из реальности интертекста, имеют в виду также и возможность движения элемента интертекста «вверх» — к ценностям данной культуры, в её концептосферу. Так и античная цитата сначала становится фактом родного языка, открывая возможность новых интерпретаций. Если культура начинает ассоциировать с определённым концептом материально совпадающий с античной цитатой языковой материал, то это уже факт другой культуры, который вовсе не должен соответство-

---

<sup>1</sup> Степанов Ю.С. В мире семиотики [Текст] / Ю.С. Степанов // Семиотика: антология; сост. и общ. ред. Ю.С. Степанова. М.: Деловая книга, 2001. С. 36–37.



вать модели соотношения той же языковой формы оригинала цитаты и соответствующей ей концептосферы (если такое соотношение вообще существует). И очень не высока вероятность совершенно совпадающих моделей в одной и другой культуре.

Чаше всего при анализе античных цитат, особенно в литературных произведениях, говорится о неточности или искажении оригиналов. Но семиотический взгляд на проблему говорит о том, что всё много сложнее, поскольку являясь языковым знаком цитата обладает всеми свойственными ему характеристиками, а природа языкового знака такова, что позволяет всякий раз означивать ситуацию заново, сама же ситуация всегда уникальна, отчего воспроизведение первичной, породившей знак, ситуации невозможно.

*Ю. Н. Варзони*

## ПРАГМАТИКА КЛАССИЧЕСКОЙ ЦИТАТЫ

Прагматический анализ речевых единиц (и как частный случай, текстовых) всегда предполагает обращение к понятию коммуникативной ситуации. Обычно в состав коммуникативной ситуации включают такие компоненты, как говорящий / пишущий, слушающий / читающий, канал связи, код сообщения, целевые и мотивационные установки говорящего и слушающего, коммуникативные ходы, социальные статусы общающихся и т.п. Прагматические исследования, таким образом, направлены прежде всего на установление связи перечисленных компонентов ситуации общения с порождением, восприятием и пониманием текстов, отбором языковых средств в соответствии с выбранными стратегиями и тактиками, использованием различных риторических приемов.

Художественный текст также может быть рассмотрен как результат функционирования единиц языка в условиях коммуникативной ситуации особого типа. С точки зрения лингвистической прагматики такая ситуация отличается от обычной, «естественной», по нескольким параметрам. Во-первых, присутствуют как минимум два вида коммуникативных ситуаций, реализующихся в литературных текстах. Первый вид — коммуникативная ситуация, возникающая в рамках «автор — текст — читатель». Ее особенности возникают прежде всего под влиянием авторской глобальной стратегии, состоящей в эстетическом, идеологическом и т.п. воздействии на читателя. И второй вид коммуникативных ситуаций, возникающий в смоделированном автором общении персонажей, также подчиненный авторской стратегии.

Классическая цитата может являться составной частью коммуникативных ситуаций обоих видов. При этом цитата обладает набором характеристик, отличающих ее от обычного, «нейтрального», словоупотребления. В частности цитата необязательна к употреблению, может существовать только на фоне синтагматически нейтрального «остатка», должна быть адекват-

но воспринята теми, к кому адресована, должна сообщать дополнительные смыслы высказыванию, должен существовать некий обязательный для адресата-социума общий фонд знаний<sup>1</sup>. Функция цитаты — «создание дополнительных смыслов, увеличение сообщаемой информации в единицу времени»<sup>2</sup>.

Авторизованная классическая цитата привносит в структуру ситуации коммуникации множество усложнений. Во-первых, это касается кода коммуникации. В тексте реализуется особая «культурная» семантика, «культура воплощает свое ценностное содержание в языке как наиболее универсальном средстве означивания мира; язык способствует сохранению и трансляции общего запаса культурных ценностей»<sup>3</sup>. Соответственно актуализируется необходимый пласт фоновых знаний читателя. Об этом свидетельствуют употребления незаконченных цитат и паремий — автор рассчитывает, что адресат в состоянии их продолжить самостоятельно. Например, в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского: «Да ведь предположите только, что и я человек есмь, et nihil humanum...» <и ничто человеческое...> (см. в настоящем издании раздел «Латынь у Достоевского»).

Во-вторых, у произведения появляется «соавтор», создатель произведения-источника, хотя цитирующийся фрагмент и реализует коммуникативную интенцию цитирующего автора. Упоминания имен знаменитых классических писателей, историков, полководцев, несомненно, эмоционально и интеллектуально настраивает читателя на особое восприятие текста, отличающееся от нейтрального.

Цитаты используются с переводом и без перевода. Если цитаты переводятся, то структура коммуникативной ситуации еще более усложняется за счет появления нового субъекта взаимодействия — переводчика. При этом роль переводчика может быть достаточно значимой. Например, во втором томе романа Г.

---

<sup>1</sup> Николаева Т.М. Речевые стереотипы, цитация, фразеологизмы, клише / Николаева Т.М. От звука к тексту. Человек и язык. Языковые разгадки и загадки. Язык и текст. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 151–154.

<sup>2</sup> Николаева Т.М. Цит. соч. С. 155.

<sup>3</sup> Ковшова М.Л. Семантика и прагматика фразеологизмов (лингвокультурологический аспект). АДФ. М., 2009. С. 3.

Сенкевича «Потоп» переводчик трактует цитату из Горация «*Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae*»<sup>1</sup> так: «Если обрушится, расколовшись мир, то и под его обломками я останусь неустрашимым»<sup>2</sup> (Сенкевич, Потоп, 59). Дословно эти строки переводятся следующим образом: «Если, расколовшись, обрушится мир, бесстрашного поразят руины». Существуют и поэтические переводы, точнее соответствующие оригиналу, например, перевод Н. Гинзбурга:

«Пускай весь мир, распавшись, рухнет —  
Чуждого страха сразят обломки»<sup>3</sup>.

То есть был выбран (или сделан) такой перевод, который, по мнению переводчика, более соответствует общему содержанию текста.

Использование древних языков в тексте определяет предполагаемый уровень восприятия произведения, то есть характеризует адресата с позиций ожидаемого культурно-образовательного уровня и, с другой стороны, настраивает самого читателя на определенный тип и структурную усложненность текста. Такая функция характерна не только для собственно цитат, но также для идиом, паремий, терминов из греческого и латинского языков, использующихся в тексте произведения.

Один из наиболее частых случаев использования древних языков в художественной литературе — это включение в текст паремий. Происходит это несмотря на то, что практически всегда в национальном языке существует семантический эквивалент таких выражений. Например, в «Воскресших богах» Д.С. Мережковского: «*Aut Caesar, aut nihil*»<sup>4</sup>. («Или Цезарь, или ничто», русское соответствие «Или пан, или пропал»), также у М.Н. Загоскина: «А впрочем, унывать не надобно: *finis coronat*

---

<sup>1</sup> Q. Horatius Carmina. III – 3, 7,8. [www.thelatinlibrary.com](http://www.thelatinlibrary.com) 15.10.2014.

<sup>2</sup> Сенкевич Г. Собр. соч. в 9 т. М.: Художественная литература, 1983–1985. Т. 4. С. 59.

<sup>3</sup> Квинт Гораций Флакк Оды. Эподы. Сатиры. Послания – М.: Художественная литература, 1970. С. 131.

<sup>4</sup> Древние языки в русской исторической прозе XIX века: материалы к справочнику / Составитель А.Ю. Сорочан. Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2013. С. 104.

opus — то есть: конец дело венчает; а до конца еще, кажется, далеко»<sup>1</sup>.

Причина использования подобных выражений, таким образом, не только в их семантике. М.Л. Ковшова отмечает, что «все компоненты языковой семантики (типы информации) проходят через различные формы их осознания в культуре. Тем самым, семантика фразеологизма задается культурно маркированными блоками. Культурная интерпретация фразеологизма соединяет в единое целое языковую семантику и культурную коннотацию фразеологизма; в собственно языковую семантику «вплетаются» культурные смыслы, и образуется особенное, фразеологическое, значение, которое можно назвать культурно-языковым значением<sup>2</sup>. Исходя из этого, можно говорить о том, что использование иноязычного фразеологизма обусловлено не только его семантикой, но и тем культурным пластом, который автор хочет актуализировать в данном текстовом фрагменте.

Классическая цитата играет немаловажную роль в языковом оформлении коммуникативных тактик и стратегий автора либо персонажа. Под стратегией понимается «когнитивный план общения, посредством которого контролируется оптимальное решение коммуникативных задач говорящего в условиях недостаточной информации о действиях партнера»<sup>3</sup>. Именно коммуникативная стратегия определяет выбор речевой тактики как наилучшего способа достижения целей общения, а также отбор стилистических, прагматических, семантических средств языка. Различают несколько типов коммуникативных стратегий. Наиболее функционально значимые, иерархически главные называют когнитивными, или семантическими. Среди вспомогательных стратегий можно отметить коммуникативно-ситуативные (самопрезентативные, статусные, ролевые, эмоционально настраивающие), конверсационные (контролирующие диалог), риторические (включающие приемы и технологии воздействия

---

<sup>1</sup> Там же С.45.

<sup>2</sup> Ковшова М.Л. Цит. соч. С. 5.

<sup>3</sup> Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С. 100.

на адресата). Однако полный список частных стратегий составить крайне сложно в силу многообразия самих коммуникативных ситуаций. Практически во всех типах частных стратегий может использоваться классическая цитата либо словоупотребление.

Конверсационная стратегия пояснения: «...нас повезли бы в Москву, там ученые люди нужны. Царь сзывает их и подалее, чем из Лифляндии. Я определился бы при немецкой церкви пастором; стал бы проповедовать слово божие, как здесь делаю; основал бы академию, *scholam illustrem*; а ты, моя милая Кетхен, была бы украшением почтенного семейства какого-нибудь боярина...» (Лажечников, «Последний Новик»)<sup>1</sup>; «Когда король Хиндасвинд, дворец которого в Толедо еще показывают в одной старой улице <...>, заменил римские законы своим *Fuero Juzgo* (*Forum Judicum*), то это уложение все оказалось основанным на указах императорских и на началах христианства, чем не могут похвалиться другие средневековые варварские кодексы» (Немирович-Данченко В.И. Край Марии Пречистой; см. в настоящей монографии раздел о Вас. И. Немировича-Данченко).

Конверсационная стратегия контроля диалога: «— Ничего не сказал, — ответил Заглоба, — а почему — узнаете в конце моей реляции, теперь же *incipiam*» «приступаю» (Сенкевич Г. Собр. соч. в 9 т. М.: Художественная литература, 1983–1985. Т. 4. С. 287); «— Сестра, — ответил калушский староста, я хотел бы, *primo*, дать тебе довод, что ты напрасно меня подозреваешь, *secundo*, что подозревать надо кого-то другого <во-первых, во-вторых>» (Там же. С. 187).

Среди риторических стратегий латинская цитата чаще встречается в аргументации: «хоть там теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел <...> но ведь с народом что поделаешь, особенно с погорельцами: *Vox populi vox dei* <Глас народа — глас божий>» (Достоевский Ф.М. «Бесы», пример С. Васильевой, см. «Латынь у Достоевского»); «Я должен был привести их, потому что я сел писать, чтоб

---

<sup>1</sup> Древние языки в русской исторической прозе XIX века: материалы к справочнику / Составитель А.Ю. Сорочан. Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2013. С. 76.

судить себя. А что же судить, как не это? Разве в жизни может быть что-нибудь серьезнее? Вино же не оправдывало. *In vino veritas* <истина в вине>» (Достоевский Ф. М. «Подросток», пример С. Васильевой, см. «Латынь у Достоевского»); «Я надеюсь, что настало уже то время, в которое всякий, не ожидая их аттестаций, прямо выскажет себе сам справедливое мнение о трудах моих: *Digno — dignum est* <Достойное достойно есть>»<sup>1</sup>.

Коммуникативные стратегии чаще всего реализуются совместно друг с другом: «Пан Заглоба опрокинул кварту меда и сказал: «*Sed jam nox humida coela Praecipitat, suadentque cadentia sidera somnos, Sed si tantus amor casus cognoscere nostras Incipiam...*» <Мог бы я слезы сдержать? Росистая ночь покидает Небо, и звезды ко сну зовут, склоняясь к закату, Но если жажда сильно узнать о наших невзгодах, Я начну...>» (Сенкевич, Т. 2. С. 299). В данном фрагменте одновременно присутствуют две стратегии: коммуникативно-ситуативная презентативная и контролирующая диалог.

Таким образом, классическая цитата является важным компонентом языковой презентации многих видов коммуникативных стратегий и отчасти сама их формирует. Использование цитации усложняет структуру коммуникативной ситуации, включая в нее дополнительные компоненты в виде автора, сюжета, персонажей цитируемого произведения, авторов примечаний и разного рода комментариев и др. «Сложность структуры прямо пропорциональна сложности передаваемой в ней информации. Значит, художественный текст передает информацию, которую — по причине ее сложности — естественный язык передать не в состоянии. Более того, Ю. М. Лотман говорит о языке искусства как единственной системе, способной передавать информацию, заведомо превосходящую познавательные способности человека»<sup>2</sup>.

*Е. П. Максимова*

---

<sup>1</sup> Любецкий С.М. Падение Великого Новгорода // Там же. С. 79.

<sup>2</sup> Леута О. Ю.М. Лотман о трех функциях текста // Юрий Михайлович Лотман / Под ред. В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2009. С. 303.

## ГЛАВА II

### АВТОРСКИЕ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

#### ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.Н. ГЛИНКИ

Имя Федора Николаевича Глинки стало известно русскому читателю в конце 1800-х гг. В 1807—1808 гг. публикуются его первые стихотворения в журналах «Русский вестник», «Аглая», «Друг юношества». В 1808 г. выходит книга «Письма русского офицера», позднее появляются «Письма к другу» (1815, 1816). Круг литературного общения Глинки был очень широк. Только в заседаниях Вольного общества любителей российской словесности под председательством Глинки участвовали А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, И. Лажечников, М. Загоскин, Е. Баратынский, О. Сомов, А. Шишков, Н. Греч, Н. Гнедич, братья А. и Н. Бестужевы, К. Рылеев, А. Воейков и др.<sup>1</sup>, в московском салоне Глинок в 1840-е гг. собирались славянофилы, в ближайшее литературное окружение входили М. Дмитриев, Ф. Миллер, М. Погодин, П. Плетнев, С. Раич, Е. Ростопчина и др.

Однако филологического образования Глинка не получил. Уже будучи известным литератором, он с сожалением отмечал, что «не имел классического образования и предварительных сведений, составляющих принадлежность литератора», поэтому «должен был собственными средствами развивать небольшой талант свой и, уже гораздо после выпуска из корпуса (где тогда не преподавали еще пиитики), доходил самоучкою до составления правильных стихов»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Зверев В.П. Великодушный гражданин // Глинка Ф.Н. Письма к другу. М.: Современник, 1990. С. 8.

<sup>2</sup> Глинка Ф.Н. Автобиография // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 315, 316.



Ф.Н. Глинка не относил себя ни к какой литературной школе, ни к какому направлению. В письме к В.В. Измайлову (1826 г.) он утверждал: «Я не классик и не романтик, а что-то сам не знаю как назвать!» По мнению В.П. Зверева, литературные взгляды Глинки развивались на удивление автономно, «его нельзя причислить ни к романтикам, ни к сентименталистам, ни к классицистам, ни к откровенным реалистам»<sup>1</sup>.

В период первых литературных опытов образцом для подражания Глинке служили, в основном, представители русской литературы рубежа XVIII—XIX вв.: Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин. Творчество этих авторов Глинка хорошо знал, о чем свидетельствуют отсылки к их произведениям в «Письмах русского офицера». В письме В.В. Измайлову, критикуя светское общество, он задается вопросом: всегда ли так было? И отвечает отрицательно, ссылаясь на предшествующую эпоху: «Тут я опять за старую песню, опять обращаюсь к тому времени, когда славился Карамзин, Дмитриев, когда читали вас с наслаждением, когда еще ценили прозу Хераскова, имеющую неотъемлемое внутреннее достоинство; тогда читали и романы, любили и мечтательность, но тогда было больше теплоты в обществе, менее дремоты в душах, в мужчинах менее холодности к женщинам, в женщинах более пленительности!»<sup>2</sup> Таким образом, Глинка не скрывал своей приверженности к литературным традициям XVIII в., именно поэтому «с самого начала он примыкает к сторонникам “старого слога”, связанного с именами Ломоносова и Державина и имеющего древнеславянские корни»<sup>3</sup>.

До сих пор обсуждается вопрос об атрибуции статьи «Замечания о языке славянском и русском, или светском наречии», опубликованной в № 7 «Русского вестника» за 1811 г. Ряд исследователей считают ее автором Ф.Н. Глинку<sup>4</sup>, другие припи-

---

<sup>1</sup> Зверев В.П. Великодушный гражданин. С. 7.

<sup>2</sup> Глинка Ф.Н. Письма к другу. С. 475—476.

<sup>3</sup> Карпец В. И мне равны и миг, и век // Глинка Ф.Н. Сочинения. М.: Сов. Россия, 1986. С. 321.

<sup>4</sup> См., напр.: Базанов В.Г. Ф.Н. Глинка // Глинка Ф.Н. Избранные произведения. Л.: Сов. писатель, 1957. С. 8—9.

сывают ее авторство С.Н. Глинке<sup>1</sup>. В целом статья отвечала духу журнала, «для которого идея национальной самобытности культуры была четко выраженной программной установкой»<sup>2</sup>, поскольку «Русский вестник» «выразил все основные идеи консервативно-националистического направления того времени: критику галломании русского образованного общества, идею самобытности отечественной культурно-исторической традиции, особого национального характера русских, и, соответственно, необходимости создания национальной системы образования и приоритета в ней русского языка как транслятора национального менталитета»<sup>3</sup>.

Взгляды Ф.Н. и С.Н. Глинок по вопросам языка были сходными, что и вызвало путаницу в атрибуции. В «Замечаниях о языке славянском и русском, или светском наречии» автор восхищался «славянским наречием»: «Какое изобилие! Какие возвышенные и какие величественные красоты в наречии славянском. И притом какое искусное и правильное сочетание слов, без чего и лучшие мысли теряют свою красоту... Славянском наречие особенно отличается силою, краткостью, выразительностью. Силу и краткость и выразительность — постараемся сохранить в русском языке»<sup>4</sup>. В.Г. Базанов, считая автором статьи Ф.Н. Глинку, пишет что последний во многом предвосхитил выступления Катенина в «Сыне отечества» и Кюхельбекера в «Мнемозине»<sup>5</sup>. Катенин в 1822 г. указывал на необходимость следовать по пути, проложенному Ломоносовым: «Знаю все на-

---

<sup>1</sup> См., напр.: Киселева Л.Н. Еще раз о С.Н. Глинке — читателе «Слова о полке Игореве» // *Finitis duodecim lustris: сб. ст. к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана*. Таллинн, 1982. С. 97—100; Лупарева Н.Н. *Общественно-политическая деятельность и взгляды С.Н. Глинки*. Автореф. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2010.

<sup>2</sup> Киселева Л.Н. *Идея национальной самобытности в русской литературе между Тильзитом и Отечественной войной (1807—1812)*: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тарту, 1982. С. 1.

<sup>3</sup> Лупарева Н.Н. *Общественно-политическая деятельность и взгляды С.Н. Глинки*. С. 1.

<sup>4</sup> *Замечания о языке славянском и русском, или светском наречии* // *Русский вестник*. 1811. № 7. С. 75.

<sup>5</sup> См.: Базанов В.Г. Ф.Н. Глинка. С. 9.

смешки новой школы над славянофилами, варягороссами и пр., но охотно спрошу у самих насмешников: каким же языком нам писать эпопею, трагедию или даже важную благородную прозу? Легкий слог, как говорят, хорош без славянских слов; пусть так, но в легком слоге не вся словесность заключается: он даже не может занять в ней первого места; в нем не существенное достоинство, а роскошь и щегольство языка»<sup>1</sup>.

Ф.Н. Глинка занимал близкую позицию, что отразилось и в его поэзии. Он любил элегический псалом, поэзию архаическую, которая во многом противоречила литературе того времени, «с помощью церковнославянской книжной лексики, славянизмов и библеизмов Глинка создает торжественную поэтическую речь»<sup>2</sup>. Чаще всего в своей духовной поэзии он обращается к псалмам. Так, в собрание сочинений 1869 г. он включил 30, 43, 62, 67, 92, 103, 112, 133, 136, 141 псалмы или отрывки из них<sup>3</sup>. М. Шаров в рецензии «Иов и друзья его. По поводу произведения Ф. Н. Глинки: Иов, свободное подражание священной книге Иова» (1859) называет религиозную поэзию забытым направлением и противопоставляет в этом плане позитивистской культуре своего времени поэзию конца XVIII — начала XIX века, когда переложения псалмов были более распространены<sup>4</sup>. По мнению современного исследователя, Глинка в отношении языка и жанров «ближе всего к архаистам-классикам. В его языке соединяются архаизмы и просторечие, но не с тем художественным тактом, как у Ломоносова, и не с той свободой, как у Державина; а, главное, на фоне школы “гармонической точности” они воспринимаются не иначе как безвкусная пестрота, безразборность в слове. Наиболее представительные жанры в его поэзии — высокие, классицистические: трагедия, аллегория и религиозная поэзия в духе масонских од»<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Сын отечества. 1822. № 13. С. 252.

<sup>2</sup> Базанов В.Г. Ф.Н. Глинка. С. 26.

<sup>3</sup> См.: Глинка Ф.Н. Сочинения в 3 т. Т. 1. М.: Тип. газеты «Русский», 1969.

<sup>4</sup> Шаров М. Иов и друзья его. По поводу произведения Ф. Н. Глинки: Иов, свободное подражание священной книге Иова. СПб., 1859. С. 3.

<sup>5</sup> Мальчукова Т.Г. Парафразы псалмов в русской поэзии 1820-х гг. // Христианская культура. Пушкинская эпоха. Вып. X. СПб., 1996. С. 94—95.

Пушкин называл Глинку самым оригинальным из всех поэтов, поскольку он «не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму; слог его не напоминает ни величавой плавности Ломоносова, ни яркой и неровной живописи Державина, ни гармонической точности, отличительной черты школы, основанной Жуковским и Батюшковым. Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в стансах метафизических или Крылова в его сатирической притче»<sup>1</sup>. Т.Г. Мальчукова, анализируя переложения 103 псалма Ломоносовым, С. Полоцким, Сумароковым, а в 1820-е годы Хвостовым и Кюхельбекером, отмечает неточность изложения Глинки, неудачные повторения. Однако в целом достоинство стихотворения Глинки признал сам Пушкин, поместив его в альманахе «Северные цветы на 1832 г.», посвященном памяти Дельвига.

Разумеется, для псалмов Глинки характерен и определенный язык, в них заметно тяготение к поэзии архаической, отличающейся обилием славянизмов, запутанностью синтаксиса: «Глинка считал, что церковнославянский и старорусский языки являются более благоприятной речевой стихией для высокой поэзии, нежели язык карамзинистов, рассчитанный на стабильные темы дворянского салона»<sup>2</sup>. В этом же ряду надо рассматривать и строфическое распределение синтаксических целых, и интонационное значение «вопрошаний» и «восклицаний». В.Г. Базанов напрямую связывает религиозную поэзию Глинки, «восходящую и тематически и конструктивно то к величавым песням ветхозаветных пророков, то к русской поэзии XVIII века (Ломоносов и Державин — прежде всего)»<sup>3</sup> с политической поэзией декабристов эпохи Союза Благоденствия. Яркий пример — строки из элегического псалма «Плач пленных иудеев» («Полярная звезда», 1823):

---

<sup>1</sup> Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 19 т. М., 1994–1997. Т. XI. С. 110.

<sup>2</sup> Базанов В.Г. Ф.Н. Глинка. С. 27.

<sup>3</sup> Там же. С. 28.

Увы, неволи дни суровы  
Органам жизни не дают:  
Рабы, влачащие оковы,  
Высоких песней не поют!

Стиль этого псалма, его ритм и синтаксис полностью соответствовали тону декабристской поэзии. «Высоту» стилю придают специально подобранные славянизмы: влекомы, органы, гласят, воспойте. Однако, широко используя церковно-славянскую лексику, Глинка часто в своей поэзии использовал и лексику разговорную, что было замечено современниками и даже вызывало насмешки.

Среди религиозных произведений Глинки были не только псалмы, но и молитвы в стихах, молитвы в прозе, так называемые «сны» и «видения». Веря в существования загробной жизни, Глинка многие бытовые явления наполнял мистическим содержанием, вкладывал в них пророческий смысл. Сны он рассматривал как один из способов познания жизни, ее внутренних законов, считая, что сны даже помогают ему лучше понять окружающих людей. Отношение к снам, видениям (которые являлись у Глинки пограничным состоянием между сном и бодрствованием) как к пророчествам нашло отражение и в его художественных произведениях. Многие записи Глинка обозначает как «видения», «сны и видения», «из записок видящего»<sup>1</sup>. Сам автор объясняет появление в своем творчестве этого жанрового образования таким образом: «На *духовном горизонте* являлись *виды, образы*, иногда оставались *по три дня сряду, пока их не перенесли на бумагу*: тогда уже исчезали из виду и памяти видящего. Видения являлись большею частью *на молитве* и сопровождались *такою* радостью, что *видящий*, полный восхищения и сладости, чувствовал чудесное, восхитительно, — как бы перенесился совсем *в иной мир*. — Казалось, на земле оставались только его одежды!!! <...> в сем извлечении порядка не означено: порядка искать не должно. Тут все смешано, но зато *совокупле-*

---

<sup>1</sup> См.: Глинка Ф.Н. Религиозная проза. Сны и видения / Сост., подгот. текста, вступит. ст., примеч. С.А. Васильевой. Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2001.

но в одно целое»<sup>1</sup>. Надо сказать, что в «снах», «видениях», молитвах в прозе доля просторечия и разговорной лексики у Глинки значительно меньше, чем в поэзии, что, возможно, объяснялось избранными сюжетами.

Одно из произведений Глинки назвал «Слова и видения. Из записок видящего». Хотя «Слова и видения» состоят из отдельных миниатюр, их можно считать циклом, поскольку части произведения связаны друг с другом. Например, единым блоком даются изображения Ангелов, каждое из них построено по одной структуре: изображение знамени, описание одежды, место обитания, архангелы и т.д. Собраны вместе видения о «Дитя», который выступает в роли воина, спасителя мира. В ряде видений встречается отсылка к последующим или предшествующим текстам. Первые «видения» пронумерованы и посвящены одной теме: противостоянию Востока и Запада, которые соотносятся с Россией и Европой. Последовательно изображаются столкновение темных и светлых сил, победа «белых», благоденствие России, которой покровительствуют чудотворцы Петр, Иона и Алексей во главе с Николаем Чудотворцем, наконец — картины прекрасного будущего России.

Глинка широко использует церковно-книжную лексику. Уже в первом видении при изображении аллегорической картины борьбы добра и зла, Востока и Запада появляются ополчение «белоризных» и ополчение черных существ, каждое из которых имело вид черной собаки. Столкновение их Глинка называет «битвой», «боем», но после окончательной победы «белоризных» он использует высокий слог: «видящий увидел великое *ликование* на небе и ему сказали: “брань решилась и дело земли кончено!”»<sup>2</sup> (С. 96). Следующие видения были «успокоительные», «обнадеживающие»: на улицах и набережных каналов, смежая глаза, видящий наблюдал не обычные дома, а «плетени-

---

<sup>1</sup> Цит. по: Глинка Ф. Н. Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе / Составитель, автор статьи и примечаний Ю.Б. Орлицкий. М.: РГГУ, 2009. С. 256.

<sup>2</sup> Глинка Ф.Н. Религиозная проза. Сны и видения. С. 96.

цы, своды, целые храмовидные строения, вынизанные из *алых роз*»<sup>1</sup>.

Безусловно, многие образы, созданные Глинкой в «Снах и видениях», целый ряд тем и мотивов, им затронутых, так или иначе соотносятся с другими его произведениями. В «Письмах русского офицера» он мечтает о *«целебнице и чистилище души»*: «Если б какой-нибудь благотворный дух научил смертных искусству омыwać сердце *от страстей и пороков*. С каким восторгом побежал бы я первый в эту спасительную баню и заплатил бы все, что имею, чтобы хотя раз омыться в ней. Пусть, сказал бы я, целительная *струя исправления* истребит во мне все слабости, дурные навыки, страсти: ненависть, злобу, мщение и зависть, таящуюся всегда в самом дальнем угле сердца. Пусть сильная рука *исправителя* сотрет с меня *грубую чешую порока!* Пусть таинственные мыла умягчат ожесточенное сердце, а рука благотворительного попечителя *умаслит его небесным елеем чувствительности и сострадания* к ближним и напоит вином умиления»<sup>2</sup>. Описание аллегорической картины очищения души содержится в одной из записей 1820-х гг.: после видения иконы Владимирской Божией Матери *видящий* видел «себя у серафимов. Эти шестокрылые одарены необъятными силами, но смиренны и покорны пред Господом. Они взяли душу видящего и полоскали ее, как грязную тряпицу. Так выражается сам видящий. Они полоскали ее во свете живом *для смывтия* (как они говорили) *лукавства* с нее. Потом, мало-помалу, видящий спустился опять, как на парашюте, на землю»<sup>3</sup>. Глинка вообще много пишет о необходимости нравственной чистоты для человека. В «Рассуждении о необходимости деятельной жизни, ученых упражнений и чтения книг <...>» он утверждает: «книги, внушающие преимущественно правила *добродетели*, необходимы всем и каждому. Добродетель можно назвать наукою *быть человеком* в полном значении слова сего. А как, по словам философа *Канта*, нет в мире звания выше и благороднее звания чело-

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Глинка Ф.Н. Письма к другу. С. 115.

<sup>3</sup> Глинка Ф.Н. Религиозная проза. Сны и видения. С. 107.

века, то и добродетель, ведущая к сему высокому сану, должна быть первейшею из наук»<sup>1</sup>.

В поэме «Таинственная капля», содержание которой Глинка, по собственному признанию, взял из средневековых хроник, народных преданий, семейных рассказов, старинных сборников, он изображает «образ целения пречистым млеком»<sup>2</sup> больного ребенка разбойников, которого излечивает Богородица. Впервые символически насыщенный образ капли тоже появляется на страницах «Слов и видений»: «Когда видящий, видя ад, так богатый полчищами злых духов, *скорбел*, что столько непокорных Богу и, может быть, могущих перевешивать всеправительственную власть Его, ему показан был, в высоте, небольшой *золотой кувшинчик* (желтого солнцевидного злата!) с чем-то *белым* и сказано: “не страшись за могущество и силу власти Божией: *одною каплею* млека из этого кувшинчика Бог может *приманить* к себе весь Ад. Все пойдут вверх, заслышав запах капли этой власти. Но Бог не желает *ни насилловать, ни насильно приманивать!*”»<sup>3</sup>.

«Млеко возрождения» возникает и в стихотворение «Тоска по свету» («Опыты священной поэзии»), которое в еще большей степени соотносится со «Словами и видениями»:

<...> Когда мои сомкнуты очи,  
Когда во мне движенья нет,  
Нисходит он, мой *тихий свет*,  
Как росоносный пар на нивы.

Какие светлые разливы!..  
Я вижу тайны, чудеса,  
И, мне сдается, небеса,  
Как жизнь, на грудь мою ложатся.  
Играют чувства, веселятся,

---

<sup>1</sup> Глинка Ф.Н. Письма к другу. С. 364.

<sup>2</sup> Глинка Ф.Н. Предисловие // Глинка Ф.Н. Таинственная капля. Народное предание. М.: Тип. М.П. Погодина, 1871. С. IV.

<sup>3</sup> Глинка Ф.Н. Религиозная проза. Сны и видения. С. 111.



И мозг костей моих светлей;  
Доселе все во мне болело  
И все в борьбе, в раздоре млело;  
Но умастил Он, как елей,  
*Сей свет* с таинственный зыбей,  
Мои тоскующие кости  
И свел блаженство с высоты.  
За ним ко мне слетелись в гости  
Надежды, думы и мечты...  
Среди любви и возношенья  
Душа веселая моя  
Пьет жадно *млеко возрождения*,  
И небом насыщаюсь я!!!<sup>1</sup>

В «Словах и видениях» переосмысляются мотивы многих ранее написанных произведений. В частности, Глинка неоднократно затрагивает проблему поиска истины, поиска пути к Богу. Например, в «Молитве» (1820) лирический герой восклицает:

О, Боже! Боже мой! Скажи,  
Куда идти мне? — Я не знаю!  
Темно! Опасно... Укажи,  
Куда лежит моя дорога?  
Здесь ни вождя, ни света нет!

В одном из видений тоже возникает мотив поиска истинного пути. Однако эта аллегорическая картина содержит оптимистический прогноз: «Прежде путь *к дому Господню* был *труден*: Великий Змей сторожил этот путь; *чудовища* занимали на нем разные логовища; наконец, *в темных пещерах* жили стада *нетопырей*, которые, налетая и махая крыльями, гасили *факел идущего* и оставляли его в темноте, часто на середине его пути». Дитя очистил этот путь поразил змея и «теперь все открыто»: «Дитя разорил все улусы и *вертепы темные черных чуд*; — ныне

---

<sup>1</sup> Глинка Ф. Н. Письма к другу. С. 463–464.

*Белые и приветливые* займут путь к *ДОМУ Господнему*: отныне спасение (человеков) уже *удобно!*<sup>1</sup>. Дитя является в «Словах и видениях» воином-победителем, прокладывающим человечеству дорогу к свету. Для Глинки-декабриста идея деятельного служения обществу была чрезвычайно важна: «*Воин и Гражданин* — вот два наименования, которые должны сливаться в одно священное название *полезного члена общества*»<sup>2</sup>. Эти идеи он и выражает в образе Дитя.

В 1840-е гг. Глинка мечтал:

Но если б в рубище, без пищи,  
Главой припав к чужой стене,  
Хоть раз, хоть раз, *счастливец нищий*,  
Увидел Бога я *во сне!*

Я б отдал все земные славы  
И пышный весь небес наряд,  
Всю прелесть власти, все забавы  
За тот один *на Бога взгляд!!!*

Но еще 1824 г. в «Словах и видениях» Глинка записал: видел «Господа, парящего над странами Азийскими»<sup>3</sup>; в другом видении он наблюдал за парящим Господом, который обратился к видящему<sup>4</sup>; в течение 3 дней он возносился в страну серафимов, где Господь творил систему новых миров<sup>5</sup> и т.д.

Исследователи вполне справедливо отмечают, что стихи Глинки — стихи космические, стихи вселенского, философского звучания, «встреча человека и огромного мира, космоса, целого мироздания — вот что главное в творчестве Глинки»<sup>6</sup>. Все это в полной мере можно отнести и к «Словам и видениям». В этих записках мир предстает гармоничным творением Бога. Глинка

---

<sup>1</sup> Глинка Ф.Н. Религиозная проза. Сны и видения. С. 161–162.

<sup>2</sup> Глинка Ф.Н. Письма к другу. С. 359.

<sup>3</sup> Глинка Ф.Н. Религиозная проза. Сны и видения. С. 101.

<sup>4</sup> Там же. С. 105.

<sup>5</sup> Там же. С. 109–110.

<sup>6</sup> Карпец В. И мне равны и миг, и век. С. 325.

пишет, что «даже мало был сведущ в священном писании, когда видения его посетили»<sup>1</sup>. Не оспаривая священного писания, Глинка предлагает свою версию сотворения Земли и других миров, возникновения жизни на других планетах, гибели цивилизаций. Это, например, *видение* о сотворении Богом новой вселенной: «В это время Господь занимался *новым* творением. В необъятности пространства Г<осподь> сотворил систему *новых* миров. Ясновидящий видел тут как бы повторение творения мира. Ему открыты имена некоторых новых миров и сказаны имена мужа и жены — первых человек той *новой* вселенной. Ниже об этом будет подробнее. Сотворение *новой вселенной* есть дело премудрости Божией и Высочайшей любви к человеку; ибо все силы и духи *соблазняющие* ныне нас, *земных*, переведены будут в *новые миры* и на земле настанет *век добродетели*. И опять переведены они будут на Землю, но уже и *сами*, от своих переселений, изменятся и людей, на Земле, найдут *уже не тех*: — *не таковыми!*»<sup>2</sup>. В другом видении описывается жизнь на Солнце, «мир великанов», планета, приговоренная к уничтожению: «Одна планета готовилась к *возгорению*. Ангелы облетали *приговоренную* к уничтожению. Все было готово, ожидали только приближения ОКА <рис.> С приближением ОКА все вспыхнуло светло-голубым пламенем. Ангелы кидались в пожар и уносили *праведных*. Мне почувствовалось, что такая же судьба ожидала Землю, и все во мне охолодело и заныло: *Я был в ужасе за Землю...* Но мне сказали, что *Бог* помиловал Землю. О погибшей же Планете сказано: «Привлекла *чуждые силы* (соблудила) и *нарушила гармонию великого порядка*». Далее я погрузился в океан *злато-зеленого сияния...*»<sup>3</sup>.

Декабристские идеалы служения обществу сохраняли для Глинки свою актуальность многие годы. Он считал, что «часто бездействие скрывает себя под приятною личиною *покоя* и сулит верное счастье... Не верьте посулам его! Человек, как член общества, конечно, нигде не найдет счастья, если не умел найти

---

<sup>1</sup> Глинка Ф.Н. Религиозная проза. Сны и видения. С. 111.

<sup>2</sup> Там же. С. 109–110.

<sup>3</sup> Там же. С. 147–148.

его в жизни деятельной, на пользу общую посвященной. — Жизнь и деятельность столь же тесно соединены между собою, как *пламя* и *свет*. Что *пылает*, то, верно, *светит*, что *живет*, то, конечно, *действует*»<sup>1</sup>. В евангельской морали Глинка «видел образец нравственной чистоты, именно поэтому он переложил на язык стиха многие псалмы, придавая нравовучению и выработанной веками мудрости современное звучание. В духе декабристов он почитал религию “не в наружных только признаках, но в самых делах”, его политические взгляды основывались на мировоззрении православного христианина»<sup>2</sup>.

В «Словах и видениях» Глинка использует и псалмы, иногда прямо их цитируя, иногда косвенно к ним отсылая. Так, описывая Ангела Крепкого суда, который «о казнях *грешников* говорит с *некоторою* настойчивостью и некоторым даже жаром, как исполнитель *Великих казней Господних*», Глинка указывает: «Во испрошение *пощады* читать псалом: “Г<оспо>ди, Да не ярости твоею!”»<sup>3</sup> (псалом 6: «Господи, да не яростию Твоею обличиши мене»). В другом отрывке описывается Архангел Уриил, вождь Ангелов чистоты, он «в *правой* руке держит, на сочном зеленом стебле, *три* белых лилии, в левой *хартию* (в виде свитка), развинутую с словами: “ИИСУС ХРИСТОС, сын Бога живого есть *чистота* и *кротость*, есть *Агнец Божий* вземляй грехи мира”». Ниже глинка указывает: «Псалом: “Помилуй мя, Боже! по велицей милости твоей и по множеству щедрот твоих, *очисти мя!*”»<sup>4</sup> (псалом 50).

Глинка, конечно, знал, что его обвиняют в слишком вольном обращении со священной книгой, и писал, что его произведения «не следует считать ни буквальным переложением, ни близким подражанием священным псалмам», что он «брал иногда общий смысл, иногда же только некоторые стихи из целого псалма и, сообразуясь с новейшим способом стихосложения, выражал так, как было прилично вдохновению, двигаемому тогда моею ду-

---

<sup>1</sup> Глинка Ф.Н. Письма к другу. С. 353.

<sup>2</sup> Зверев В.П. Великодушный гражданин // Глинка Ф.Н. Письма к другу. С. 15.

<sup>3</sup> Глинка Ф.Н. Религиозная проза. Сны и видения. С. 137.

<sup>4</sup> Там же. С. 145.

шою»<sup>1</sup>. В «Словах и видениях» библейские образы, использование архаизмов, библеизмов, церковно-книжной лексики тоже служат для Глинки отправной точкой: на их основе он создает собственные аллегорические картины. Если «Свободное подражание Священной книге Иова» было опубликовано лишь в 1859 г., «Таинственная капля», посвященная земной жизни Христа, в России вышла в 1870 г., то «Слова и видения» Глинка опубликовать так и не решился.

*С. А. Васильева*

---

<sup>1</sup> Цит. по: Базанов В.Г. Поэтическое наследие Федора Глинки (10—30-е годы XIX в.). Петрозаводск, 1950. С. 67.

## ЯЗЫК ПРОШЛОГО И ЯЗЫК НАСТОЯЩЕГО: ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ В ПРОЗЕ ЛАЖЕЧНИКОВА

Проблема языковых границ в текстах, посвященных историческому прошлому, не имеет однозначного решения — полагаю, и не может иметь. Слишком много различных систем взаимодействуют в данном случае, слишком много вопросов сливаются в один. Здесь и стилистические градации, и авторское видение языка эпохи, и читательское восприятие, и функциональные классификации, и «скрытые» смыслы слов и текстов, связанных с предшествующими эпохами. Однако жанр исторического романа позволяет перевести обсуждение этих вопросов в более определенную плоскость. А именно: как используются «древние» языки в исторических текстах и насколько важны они для создания колорита эпохи.

В исторической прозе И. И. Лажечникова мы на первый взгляд обнаруживаем закономерности, общие для литературы XIX столетия. И элементы древних языков в романном тексте вписываются в довольно жесткую структуру. Однако внешность обманчива. Может показаться, что русский язык предшествующих эпох выступает в «бытовых», «сниженных» формах, а литературные формы связаны с классическими языками. В «Последнем Новике» это наследие классического образования как будто очевидно. И должность автора — директор гимназии, и выбор эпохи — европеизация России в правление Петра I — все подсказывает обращение к классическим образцам. И известные фразы и формулы будут маркировать ситуацию и подсказывать персонажам определенную линию поведения, а читателям — столь же определенное восприятие происходящего. Остановимся подробнее на одном примере: «Ха, ха, ха! спесь рыцарей меча и низость бременских купцов, все вместе!.. Вот эти *patres patriae*,

*defensores justitiae!* — вскричал, коварно смеясь, путник, ехавший верхом»<sup>1</sup>.

Используя латинскую фразу, Лажечников напоминает образованному читателю титул *pater patriae* (отец отечества), который получил от римского сената Цицерон после подавления им заговора Катилины. Впоследствии этот титул был дан римским сенатом императору Августу. В России титул «отца отечества» был присвоен сенатом Петру Первому — но только после победы над Швецией и заключения Ништадтского мира; в книге он не относится к императору, но указывает на героическое восприятие эпохи, что достаточно типично в классических римских образцах. Например, «Надпись о деяниях Августа» (*Monumentum Ancyranum*) гласит: «*Tertium decimum consulatum cum gerebam, senatus et equester ordo populusque Romanus universus appellavit me patrem patriae idque in vestibulo aedium mearum inscribendum et in curia Julia et in foro Augusto sub quadrigis quae mihi ex senatus consulto positae sunt censuit*»<sup>2</sup>.

Все вроде бы правильно, но использование латинского словосочетания имеет и иное значение; Лажечникову важно не только указать на связь римского героизма и героизма Петровской эпохи, но и намекнуть на источник вдохновения, имеющий самое прямое отношение к переносному употреблению латинского словосочетания в «Последнем Новике». В романе В. Скотта «Приключения Найджела», оказавшем огромное влияние на русскую историческую прозу, данное словосочетание повторяется неоднократно: «Ах, сын мой, государство и ты счастливо избежали тяжелой утраты — вам грозило лишиться вашего доброго отца; ведь я столько же *pater patriae*, сколько *pater familias*»<sup>3</sup>. Титул «отца Отечества» становится важен в сопоставлении, когда возможно эту категорию с чем-то соотнести, как

---

<sup>1</sup> Лажечников И.И. Последний Новик. М.: Правда, 1983. С. 19. Далее роман цитируется по этому изданию с указанием страниц в тексте.

<sup>2</sup> «В мое тринадцатое консульство сенат и сословие всадников и весь римский народ наименовал меня отцом отечества и постановил, чтобы этот титул был начертан при входе в мой дом и в Юлиевой курии, и на площади Августа под квадригой, воздвигнутой мне по постановлению сената».

<sup>3</sup> Скотт В. Собрание сочинений: В 20 т. М.;Л.: ГИХЛ, 1964. Т. 13. С. 429.

в следующем примере: «Возьми с собой проклятие отца, презренный! — воскликнул лорд Хантинглен. — Проклятие короля, который есть *pater patriae*, — сказал Иаков»<sup>1</sup>. Лажечников, прибегая к вальтерскоттовской традиции использования латинских фраз-маркеров, подсказывает читателям возможность героической, а точнее — патриотической трактовки не самых, казалось бы, замечательных поступков.

Или иной пример, содержащийся в монологе пастора Глика: «...нас повезли бы в Москву, там ученые люди нужны. Царь сзывает их и подалее, чем из Лифляндии. Я определился бы при немецкой церкви пастором; стал бы проповедовать слово божие, как здесь делаю; основал бы академию, *scholam illustrem*; а ты, моя милая Кетхен, была бы украшением почтенного семейства какого-нибудь боярина... Ой, ой! Фриц, по каким кочкам ты нас везешь!» (30).

Упоминание «знаменитой школы», казалось бы, существенного значение не имеет — устойчивое словосочетание, вполне уместное в речи образованного священнослужителя. Оно достаточно широко распространено, чтобы не привлекать особого внимания: «*Ante omnia loco natali, ut par erat, gratificari satagens, ibi aperiendam curavit, sumptu haud medico, scholam illustrem et liberam, structurae splendore, reddituum copia, librorum supellectile, et alumnorum numero insignem*»<sup>2</sup>. Подобных примеров в европейских текстах, публикующихся в изданиях 1830–40-х годов — огромное количество. Но нам интересно не только буквальное прочтение, но и опыт «героической» интерпретации устойчивых выражений. Ведь пастор Глюк, прототип героя романа, действительно основал гимназию в 1703 г. в Москве, куда был увезен после занятия русскими Мариенбурга в качестве военнопленного, гимназию, в которой учились и боярские, и купеческие дети<sup>3</sup>. Об этом педагогическом подвиге и напоминает латинская фраза. Ведь

---

<sup>1</sup> Там же. С. 507.

<sup>2</sup> Robertson J. Illustrations of the topography and antiquities of the shires of Aberdeen and Banff. Aberdine: Printed for the Spalding club, 1847. P. 50.

<sup>3</sup> См.: Голубцова М.А. Московская школа Петровской эпохи // Москва в ее прошлом и настоящем. М.: Т-во «Образование», <б.г.> Т. VII. С. 35–38.



создание гимназии, одного из лучших учебных заведений того времени, становится подвигом, действием, служащим благу государства, возвышающим Россию, приближающим ее к «образцовым» странам.

Правда, следующая фраза оказывается контрастной по отношению к возвышенным мечтаниям Глика: «Настоящая Московия, — пробормотал сердито офицер, — песок, лес, кочки, буераки!» (30) Здесь происходит не только столкновение языковых стихий, но и столкновение прекраснодушных видений и суровой реальности, Московии воображаемой, книжной, латинизированной и Московии реальной, «просторечной». Подобные комментарии к латинским фразам и словам в «Последнем Новике» можно продолжить; ограничусь одним указанием на любопытную неточность. К слову «багульник» дано примечание автора: «Очень горькое и вредное растение: *ledum palustre*» (74). Однако указанный на латыни вид — только один подвид, багульник болотный. Вообще же в России род Багульник представлен четырьмя видами: *Ledum decumbens* — Багульник стелющийся; *Ledum hypoleucum* — Багульник подбел; *Ledum macrophyllum* — Багульник крупнолистный; *Ledum palustre* — Багульник болотный. Речь, конечно, идет только о последнем, действительно распространенном на упоминаемой территории.

В большинстве случаев латинские словоупотребления Лажечникова отражают реальную языковую ситуацию 1830-х годов. Например: «Пастор <...> спешил сам вторгнуться в арсенал своей памяти и начал опрометью рыться в нем, чтобы найти приличное оружие, если не для отражения неприятеля, по крайней мере, для убеждения и смягчения его сердца; то есть он собирал разбросанные в памяти своей русские сильнейшие выражения, какие только знал. Из них составил бы он речь *ex abrupto*, которая могла бы в несчастном случае так сильно подействовать над ожесточенными неприятелями, что они должны бы признать себя побежденными и преклонить грозные оружия к ногам оратора, как трофеи его красноречия». (94)

«*Ex abrupto*» в значении «внезапно; сразу; без предварительной подготовки» в литературном языке распространяется в се-

редине XIX века. «Я бы на Вашем месте кончил ее [биографию А.С. Пушкина] *ex abrupto* — поместил бы, пожалуй, рассказ Жуковского о смерти Пушкина, и только»<sup>1</sup>; «И вот, право, не знаю, как мне лучше взяться, чтобы показать вам весьма странные позиции шашек на тогдашних квадратиках литературной арены. Всего лучше *ex abrupto* показать вам конечные, последующие позиции»<sup>2</sup>.

Вводное слово подчеркивает высокий стиль следующего панегирика Паткулю: «*Igitur* <Итак>, скажу об Иогане Рейнгольде Паткуле, лифляндце родом, сердцем и делами, бывшем изгнаннике, ныне генерал-кригскомиссаре московитского монарха, гения-творца своего государства, вождя своего народа ко храму просвещения — вождя, прибавить надобно, шествующего стопами Гомеровых героев». (271). Продолжение так же выстроено: в подтверждение заслуг Паткуля упоминается о «дедукции, изданной *in quarto* прошлого, 1701 года февраля пятнадцатого дня». (274).

Конечно, пастор в романе очень часто окружен книгами; упоминания о них призваны подчеркнуть образованность и «книжность» представлений, особенно когда книги эти принадлежат предшествующим эпохам: «Господи! пошли мне дух терпения и смирения с этим бешеным. Вот видите, господин цейгмейстер: я возьму под одну мышку “Славянскую Библию”, “*Institutio rei militaris*” и “*Ars navigandi*” под другую...» (373).

Здесь пастор называет две классических работы: «Правила военного дела» и «Искусство кораблевождения». С первой все более-менее ясно: трактат Публия Флавия Вегетия Рената (*Publius Flavius Vegetius Renatus*) «О военном деле» (390–410 н.э.) — первый дошедший до настоящего времени систематический труд о военном искусстве Рима, составленный на основе римских источников. Точное его название: «*Epitoma Rei Militaris*». Сложнее с другим сочинением. Вероятно (коммента-

---

<sup>1</sup> И.С. Тургенев – П.В. Анненкову, 28.X 1852 // *Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем.* М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. Письма. Т. 2. С. 78.

<sup>2</sup> Григорьев А.А. Мои литературные и нравственные скитальчества // Григорьев А.А. Воспоминания. Л.: Наука, 1990.

торы этого не отмечают) речь идет об аналогичном трактате по кораблевождению, созданном Мареном Мерсенном (Marin Mersenne; 1588—1648) — французским математиком, физиком и теологом. Полное название книги, впрочем, содержит и латинские, и французские формулы: «L'Ars navigandi. Hydrostaticae, liber primus. Liber secundus. De navigatione, seu histiodromia...»

Смешение языков «древних» и «новых» вносит в текст дополнительные смыслы. Так, финальное письмо Петра включает слова французские, и немецкие; тем самым демонстрируются познания монарха. Однако первое автоименование — искаженное латинское: «Госпожа Зегевольд дрожащими руками взяла поданную ей бумагу, подошла к свече и прочла следующее: “Min Frau! Я, cesar и полковник от гвардии российской, взялся быть сватом капитана Густава Траутфеттера...”» (517).

В речи других персонажей латинские термины становятся пародийными: «Слушай же мой дискурс. Когда обрели мы неприятеля в ордере-де-баталии и увидели, что regimenty его шли в такой алиенции, как на муштре, правду сказать, сердце екнуло не раз у меня в груди; но, призвав на помощь святую трицу и божью мать казанскую, вступили мы, без дальних комплиментов, с неприятелем в рукопашный бой. Войско наше, яко не практикованное, к тому ж и пушки наши не приспели, скоро в конфузию пришло и ретироваться стало, виктория шведам формально фа-во-ри-зи-ро-ва-ла. Желая с Полуектовым персонально сделать диверсию важной консеквенции и надеясь, что она будет иметь добрый сукцес, решились мы с ним в конфиденции: в принципии атаковать... Уф, родные, окатите меня водою! Мочи нет! не выдержу, воля ваша! Понимай меня или не понимай, фон Верден, а я буду говорить на своем родном языке. Вот видишь, нас с Полуектовым нелегкая понесла прямо на тычины, которыми окружена была мыза; мы хотели спешить своих и по-русски махнуть через забор. Не тут-то было!» (166) Здесь речь Вадбольского — не столько пародия чрезмерное увлечение в Петровскую эпоху иностранными словами и

терминами (как указывают комментаторы<sup>1</sup>), сколько точная имитация речи образованного военного человека начала XVIII в. Вымышленный персонаж не способен говорить на этом языке, непонятном читателю и в значительной мере автору. «Наукообразие» и «правильность» этой речи — кажущиеся, недаром имитация становится излишней. Ведь в тексте произвольно мешаются латинская и французская терминология, «классический» и «новый» военный опыт: дискурс (лат.) — сообщение; ордер-де-баталия (фр.) — боевое построение; регименты (фр.) — полки; консеквенция (лат.) — последовательность; сукцес (лат.) — успех, удача.

Латинизированные словоупотребления, как видим, традиционны, они создают исторический фон, но столь же важен и фон литературный. Например, упоминание об историческом романе М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) у Лажечникова выстроено «почтенному», в неперменном высоком стиле и с использованием соответствующей лексики: «В палладиумах наших, Троицком монастыре, Нижнем Новгороде, Москве, разгуливало уже вместе с истиной воображение писателя, опередившего меня временем, известностью и талантами своими» (11). Здесь «палладиум» — оплот, святыня, приближение к которой доступно писателю — художнику.

В «Ледяном доме» формы «классические» также связаны с одним персонажем, но не с ученым, а с литератором — В.К. Тредиаковским, однако следует подробнее рассмотреть, как элементы «древности» в текстах придворного поэта проникают в текст романа. Частое именование поэта «творцом «Телемахида»» указывает и на сюжетную роль этого текста в «Ледяном доме» (любовные записки героев, пересылаемые в книге), но и на роль языка поэмы в воссоздании культурной среды первой половины XVIII века. Однако есть и другое, латинское именование «пиита»: «...если бы ты знал, какое слово!.. В нем заключается красноречие всех твоих Демосфенов и Цицеронов, вся по-

---

<sup>1</sup> Ильинская Н.Г. Комментарии // Лажечников И.И. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1987. С. 572.

эзия избранной братьи по Аполлону. Василия Кирилловича за него непременно в профессору элоквенции [Лат. *eloquentia* — дар слова, красноречие, от *eloquium* — речь, язык!]<sup>1</sup>. Следует отметить, что профессором ТрEDIAKовский стал позднее: «Только в 1745 году, когда ТрEDIAKовский обратился с доношением в Сенат и изложил по пунктам свои права на звание академика и испытанные мытарства, императрица Елизавета пожаловала его, по докладу Сената, в профессору “как латинския, так и российския элоквенции”»<sup>2</sup>

Впрочем, эта неточная аналогия с античными ораторами и исчерпывает в случае ТрEDIAKовского непосредственные обращения к древним языкам. Другие латинские фразы — по принципу контраста — связаны с описаниями действий повседневных и даже низких. Например, «Маленький доктор, в блондиновом паричке и с двумя крылышками за плечами, попав раз к таким пациентам, то и дело посещает их и каждый раз, очинивши исправно свое перо, пишет на сигнатурке: *repetatur* [лат. повторить], прибавить того, усилить сего» (66). Или: «Липман отпрянул назад, ближе к двери, все-таки не теряя присутствия духа и измеряя свои слова.

— Что я хочу сказать? Гм! это, кажется, не имеет нужды в экспликации [объяснении, от лат. *explicatio*]. То, что я, обергофкомиссар, застал ваше превосходительство как обольстителя у любимой гоф-девицы ее величества... и то, гм! что ее величество изволит об этом узнать, когда мне заблагорассудится донести...

— Кто поверит жиду и перекрещенцу? наушнику, негодяю, запачканному в грязи с ног до головы?...» (183)

Обратим внимание на контраст «высоких» выражений Липмана и его последующей характеристики. Однако любопытно и то, как мало латинских выражений в тексте присутствует. Архаичный элемент совершенно иной — текст

---

<sup>1</sup> Лажечников И.И. Ледяной дом. М.: Советская Россия, 1977. С. 42. Далее цитируется по этому изданию с указанием страницы.

<sup>2</sup> Ляцкий Е. ТрEDIAKовский Василий Кириллович // Русский биографический словарь. [Режим доступа:] <http://www.rulex.ru/01190027.htm/>

Тредиакковского, в котором переводы из классических авторов как бы растворены. Укажем на наиболее известный пример: «Пышутся горы родить, а смешной родится мышонок!..» (67) Эта фраза Тредиакковского взята, конечно, из «Предъизъяснения об иронической пииме», являющегося вступлением к «Телемахиде». Однако гораздо реже отмечают, что эта часть перевода из «Искусства поэзии» Горация, используемая создателем поэмы в дидактических целях:

Не начинай так, как полнокружный древле Писатель:  
Я воспую фортуны Приама, и брань благородну.  
Что ж достойное даст обещатель зева толика?  
Пышутся горы родить, а смешной родится мышонок?<sup>1</sup>

«Насмеяние» Горация известно в иных переводах; но главное — оно стало источником популярного афоризма «гора родила мышь» именно после перевода Тредиакковского. Афоризм этот, употреблявшийся, к примеру, и В.И. Лениным<sup>2</sup>, является достойным вкладом поэта в русскую фразеологию, желая осмеять Тредиакковского, Лажечников скорее показал его достоинства.

Присутствуют в тексте и скрытые цитаты из «Телемахиды». К примеру, фраза «Но дух, как Иракий, чего не возможен! Он совершил во мне седьмой подвиг...», разумеется, отсылает к Гераклу (Геркулесу) и его седьмому подвигу, чистке загрязненных конюшен царя Авгия, которую он закончил в один день, проведя через них Алфею. Однако «намек на строку из “Телемахиды”»: “Се Иракий, одолевший столь многих Дивавищ

---

<sup>1</sup> Тредиакковский В.К. Сочинения. М.: Изд. Смирдина, 1848. Т. 2. Отд. 1. С. LXXII. Далее цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы.

Ср. : *Nec sic incipies, ut scriptor cyclicus olim:*

*“Fortunam Priami cantabo et nobile bellum”.*

*Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?*

*Parturient montes, nascetur ridiculus mus.*

*(Horatius. De arte poetica).*

<sup>2</sup> Доклады о разрухе // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М.: ИПЛ, 1967. Т. 32. С. 206.

и Чудищ” (“Телемахиды”, книга 50)»<sup>1</sup> кажется сомнительным. В «Телемахиде» всего 24 книги; почему именно этот намек увидели комментаторы — неясно. Третьяковский в словаре, приложенном к поэме, указывает: «Геркулес <...> был ненавидим Юноною, подвергавшей его многим чудищам» (2,808). В целом же о роли «Телемахиды» в представлениях героев романа об античности можно написать особую работу. Чаще всего Лажечников использует строки, кажущиеся ему нелепыми, для создания комического эффекта — о высоком говорится как о низком:

Се на светлый Олимп восходит: там собраны были  
Боги все, к осиянну зарями Зевса престолу.  
С места сего созерцают они огнелучны светила,  
Кои текут, в округ катясь, под оных ногами.  
Видят они весь шар земли, как блатную грудку,  
Все ж преобширны моря им кажутся водными капли,  
Коими грязная кочечка та по местам окроплена... (2, 262)

Последние строки этого фрагмента только смущенный Волынский мог признать «исполненными силы, великолепия» (80) и только сам автор поэмы мог принять вынужденные похвалы за чистую монету. Самолюбивый сочинитель кажется герою «духом-мучителем», притом терзает он и слушателей, и античных героев.

При этом «фигура усугубления», на которую ссылается далее Третьяковский, и впрямь была чем-то новым в стихосложении XVIII столетия: «Прочь от меня, прочь далее, прочь, вертопрашный детина...» (80)<sup>2</sup> Однако, употребленная в обращении Калипсо к Телемаку, она должна, по мнению романиста, вызывать смех — персонажи античной литературы говорят на языке нового времени и становятся нелепыми.

---

<sup>1</sup> Шуб Е.М. Примечания // Лажечников И.И. Ледяной дом. Мн.: Народная асвета, 1985. С. 327.

<sup>2</sup> Ср.: 2, 203.

Однако смешение античных культурных коннотаций с новыми не только фарсовое, но и смысловое, оно совершается не только в речи персонажей, но и в выражении позиции автора. Ярчайший пример — один из эпитафий<sup>1</sup> к главе «Родины козы»: «Et toi, Brutus?... Voltaire»<sup>2</sup> (213). «И ты, Брут!..» — слова, с которыми, по преданию, смертельно раненный римский император Кай Юлий Цезарь (100–44 до н.э.) обратился к своему другу Марку Юнию Бруту (85–42 до н.э.), участвовавшему в республиканском заговоре против Цезаря. Таковы последние слова Цезаря в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Трагедия же Вольтера (1694–1778) «Брут» посвящена Луцию Юнию Бруту, согласно древнеримскому преданию — основателю римской республики. Вольтерский в «Ледяном доме» — конечно, не республиканец, однако реформатор, который является трагическим героем. В ряду множества скрытых указаний на идеалы декабристов в романе мимо этого не следует проходить. Но указание не вполне ясно, а смешение древней римской и новой французской литературы — как раз то, чего Лажечников попытался избежать в дальнейшем. Древние языки следовало отделить от новых, чтобы избежать нелепостей.

И уже в «Басурмане» осуществляется резкий раздел этих двух языковых элементов: «бытовую» и «книжную» языковые стихии невозможно объединить, хотя и принадлежат они как будто одной изображаемой эпохе. поэтому появляется первая редакция книги, в которой преобладает «древний» русский язык и которую критики подвергли суровому разбору: «Мы хотим сказать слова два о новом, небывалом и до чрезвычайности странном правописании автора “Басурмана”. Положим, что окончание прилагательных на *ова* и *ева*, вместо *аго*, *яго* и *его*, имеет свое основание и даже, когда к этому попривыкнуть, может быть принято всеми; что же касается до “может-быть”, “может статься”, “как скоро” и тому подобных — то мы не зна-

---

<sup>1</sup> В целом построение системы эпитафий в этом фрагменте — одно из интереснейших и до сих пор не вполне очевидных мест в романе.

<sup>2</sup> И ты, Брут?... Вольтер (франц.)]



ем, что и сказать об этом. Будь это принято всеми, тогда сбудется сказка о старухе, которая, заметив, что ее госпожа, колдунья, молодеет от какого-то эликсира, так несоразмернохватила его, что сделалась семилетним ребенком...»<sup>1</sup>

А потом выходит вторая, «литературная» редакция, где различия древности и современности сглажены, «древний язык» присутствует в романе исключительно в книжном варианте: цитируются «Хождение за три моря», царские указы, летописи и т.д. Отметим, что «немчин»-врач Антон Эренштейн не говорит по-латыни и не употребляет латинских терминов; этот сегмент «древней культуры» уже занят, классические языки вытеснены формами древнерусской книжности. Рассмотрим два примера: «Салтана носят на кровати золотой; над ним терем аскамитный с маковицей золотой, а над ней горит яхонт с куриное яйцо. Перед салтаном ведут до двадцати коней в саях золотых, за ним на конях триста человек, да пеших пятьсот, да трубников, варганников и свилельников по десяти человек. А коли выезжает на потеху с матерью и с женою, с ним человек на конях десять тысяч и пеших пятьдесят тысяч, слонов триста, наряженных в доспехи золоченые, с городками [башенками. (Прим. автора)] на них коваными, а в городках по шести человек в доспехах, с пушками и с пищальями»<sup>2</sup>.

А теперь сравним романский текст с оригиналом; вот фрагмент Этгерова списка Львовской летописи: «А земля людна велми, а сельскыя люди голы велми, а бояре силны добръ и пышны велми. А все их носят на кровати своєї на серебряных, да пред ними водят кони в снастех златых до 20; а на конех за ними 300 человекъ, а пѣших пятьсот человекъ, да трубников 10 человекъ, да нагарниковъ 10 человекъ, да свирѣльников 10 человекъ.

---

<sup>1</sup> Белинский В.Г. Ледяной дом. Сочинение И. И. Лажечникова... Басурман. Сочинение И. Лажечникова // Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Художественная литература, 1977. Т. 2. С. 372.

<sup>2</sup> Лажечников И.И. Басурман; Колдун на Сухаревой башне; Очерки-воспоминания. М.: Советская Россия, 1989. С. 96.

Салтан же выезжает на потѣху с матерью да з женою, ино с ним человекѣкъ на конех 10 тысящъ, а пѣших пятьдесят тысящъ, а слонов выводят двѣсте, наряженных в доспѣсах золоченых, да пред ним трубников сто человекѣкъ, да плясцов сто человекѣкъ, да коней простых 300 в снастех золотых, да обезьян за ним сто, да блядей сто, а все гауроки».<sup>1</sup> Как видим, из «древнего» текста исчезает не только все грубое и «низкое», но и все сомнительное в политическом отношении (например, упоминания о богатстве «бояр» и бедности «сельских людей»). Язык древней литературы становится в интерпретации романиста понятнее и проще, но при этом вся древняя культура оказывается исключительно книжной.

Есть в романе и относительно точное воспроизведение летописного текста: «Врач немчин Антон приехал (в 1485) к великому князю; его же в велице чести держал великий князь; врачева же Каракачу, царевича Даньярова, да умори его смертным зелием за посмех. Князь же великий выдал его “татарам” <...> они же свели его на Москву-реку под мост зимою и зарезали ножом, как овцу»<sup>2</sup>. Однако, если сравнить, с первоисточником, обнаружатся и отличия: «Того же лета [1485] врач немчин Антон приеха к великому князю, его же в велице чести держа великий князь. Врачева же Каракачу, царевича Даньярова, да умори его смертным зелием за посмех. Князь же великий выдал его сыну Каракачеву. Он же мучив его, хоте на окуп дати. Князь же великий не повеле, но повеле его убити. Они же сведше его на реку на Москву под мост зиме, зарезаша его ножом, как овцу»<sup>3</sup> Конечно, исчезает указание на виновность великого князя, приказ которого, согласно летописи, был единственной причиной смерти Антона (в романе Иоанн слишком поздно дарует «помилование» герою). Но исчезает и аутентичность древнего текста.

---

<sup>1</sup> Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексева, Н. В. Поньрко. СПб.: Наука, 1999. Т. 7: Вторая половина XV века.

<sup>2</sup> *Лажечников И.И.* Басурман. С. 370.

<sup>3</sup> Полное собрание русских летописей. СПб., 1910. Т. XX. С. 349.

Лажечников как будто цитирует старинные книги, а на самом деле пересказывает, создавая литературную вариацию «древнего языка».

Такой путь к примирению «старого» и «нового» демонстрирует конформизм исторического жанра; стремление сохранить «привычные» ценности и представления особенно очевидно в тексте, посвященном прошлому. Три романа Лажечникова показывают, как «книжность» из прерогативы героев переходит в речь автора, как изменяются формы и функции древних языков в исторической прозе. Анализ можно было бы продолжить на примере поздних произведений, однако ограничимся одной жанровой системой. В историческом романе использование языка прошлого связано с тематическими ограничениями; конечно, язык XVIII века и язык XV совершенно различны и разные элементы «классической» древности в зависимости от хронологии будут автору интересны. Но любопытно, что автор сам от «языка настоящего» переходит к «языку прошлого», а персонажи этим языком более не пользуются. Преодолевая языковой барьер, романист утрачивает уникальные возможности, предоставляемые использованием классических языков в историческом повествовании.

*А. Ю. Сорочан*

## ЛАТИНСКИЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Проблему значения древних языков в образовании, воспитании и культуре в целом Достоевский затрагивает в «Дневнике писателя» за 1876 г. Он не отрицает необходимости их изучения, их развивающей роли: «ровно пять лет назад произошла у нас так называемая классическая реформа обучения. Математика и два древние языка, латинский и греческий, признаны наиболее развивающим средством, умственным и даже духовным. Не мы признали это и не мы это выдумали: это факт и факт бесспорный, выжитый на опыте всею Европою в продолжение веков, а нами только перенятый»<sup>1</sup>. Однако Достоевский видит здесь и огромное противоречие: «рядом с страшно усиленным преподаванием этих двух древних великих языков и математики, почти совсем подавлено у нас преподавание языка русского. Спрашивается: как, каким средством и через какой матерьял наши дети усвоят себе формы этих двух древних языков, если русский язык в упадке. Неужели только один механизм преподавания этих двух языков (да еще учителями чехами) и составляет всю развивающую их силу». Речь в этом очерке идет о реформе среднего образования, которую провел в 1871—1872 гг. министр народного просвещения граф А.Д. Толстой. Он считал, что «вопрос между древними языками как основою всего дальнейшего научного образования и всяким другим способом обучения есть вопрос не только между серьезным и поверхностным учением, но и вопрос между нравственным и материалистиче-

---

<sup>1</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Л.: Наука, 1972—1990. Т. 23. С. 82. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы. Отметим, что развивающую роль латинского языка отмечали и ученые XX в., см., напр.: Гринбаум Н.С. Активизация мыслительной деятельности студентов в процессе преподавания латинского языка на вузовских гуманитарных факультетах // Гринбаум Н.С. Взгляд в античность. Varia. СПб.: Нестор-история, 2010. С. 301—305.

ским направлением обучения и воспитания, а следовательно и всего общества»<sup>1</sup>. Реформа предоставляла право поступления в университеты только выпускникам классических гимназий, основными предметами в которых были древнегреческий язык, латынь и математика, что ограничивало доступ в университеты выходцам из низших сословий. Целесообразность такой реформы обосновывалась ссылкой на систему среднего образования в ведущих странах Западной Европы, отличающихся высоким уровнем развития науки и культуры. В связи с реформой резко возросла потребность в учителях древних языков. Поскольку русские университеты ее удовлетворить не могли, Министерство народного просвещения стало назначать на эти должности кандидатов и магистров духовных академий, а также приглашать учителей-славян из-за границы, главным образом чехов, против чего и выступает Достоевский<sup>2</sup>.

Однако, несмотря на определенные перекосы, Достоевский не отрицает значимости древних языков как важной составляющей образования в России. На протяжении многих лет они составляли важнейшую часть гимназического обучения, были сигналом образованности, а у самого Достоевского их знание используется даже как символическое обозначения возраста: «Всё может с человеком случиться, что даже и не снилось ему никогда, и уж особенно тогда... ну, да хоть тогда, когда мы с тобой зубрили Корнелия Непота!» («Униженные и оскорбленные»; 3, 264–265), — сочинения римского историка Корнелия Непота (ок. 99—после 32 г. до н. э.) входили в гимназический курс латинского языка. Латинские цитаты, крылатые выражения, афоризмы часто использовались в диспутах, научной полемике. Их многообразие и многофункциональность в русском языке подчеркивал еще М.И. Михельсон, автор-составитель одного из первых сборников крылатых слов и выражений на русском языке: «сколько есть мифологических и исторических соб-

---

<sup>1</sup> Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения, 1802—1902. СПб., 1902. С. 520.

<sup>2</sup> См. также: Рак В.Д. Комментарии // Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 15 т. Л.: Наука, 1988—1996. Т. 13. С. 500.

ственных имен, употребляемых иносказательно, в качестве нарицательных; сколько других выражений, смысл которых вполне ясен только для знакомых с той или другой отраслью науки и, вообще, для людей, весьма начитанных и обладающих, к тому, твердою памятью. Сколько есть известных русских иностранных ходячих выражений, излюбленных по меткости своей, по удачному сравнению, по тонкому намеку на какое-нибудь многим известное событие, наконец — по оригинальности формы своей, — постоянно употребляемых в печати и разговорном языке, то для подтверждения авторитетным словом правильности сказанного, то для украшения и большей выразительности речи!»<sup>1</sup>

В художественных произведениях Достоевского латынь, действительно, часто используются для подтверждения сказанного, для усиления эффекта. В «Елке и свадьбе (из записок неизвестного)» латинское выражение употребляет герой-повествователь. Он описывает, как на вечере почетный гость Юлиан Мастакович случайно услышал, что за одной из девочек, который было всего 11 лет, отец готовит большое приданое. Юлиан Мастакович прикинул, что к моменту достижения ею возраста невесты приданое достигнет 500 тысяч. Перед знакомством «он был крайне взволнован», его «волнение увеличилось до *pes plus ultra* <до крайних пределов>, когда он остановился и бросил другой, решительный взгляд на будущую невесту» (2, 97). В сборнике Михельсона эта фраза переводится как аналог русским «до сих пор», «но не далее»<sup>2</sup>. «Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений» указывает, что «выражение восходит к греческому мифу о Геракле, согласно которому скалы на берегах Гибралтара — это колонны, воздвигнутые Гераклом на краю мира в память о его далеком походе за быками

---

<sup>1</sup> Михельсон М.И. Предисловие ко второму изданию // Михельсон М.И. Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний). СПб., 1896. С. V.

<sup>2</sup> Михельсон М.И. Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний). С. 245.

великана Гериона (Геркулесовы столбы)»<sup>1</sup>. Фраза широко употреблялась в русской литературе: В Г. Белинским в «Литературных мечтаниях» и рецензиях, М.Е. Салтыковым-Щедриним в «Убежище Монрепо», М.П. Погодиным в «Нечто об Отрепьеве» и др. — во всех случаях вне связи с источником. В приведенном тексте Достоевского латинская фраза повторяет и тем самым дополнительно подчеркивает высочайшую степень волнения, которую испытывает будущий жених, заметив прелестную внешность девочки. Она дает и характеристику героя-повествователя, знающего латынь, однако в данном случае мы не можем судить, использует ли он ее лишь на уровне безымянной фразеологической единицы или знаком с мифом о Геракле. В подобной же функции усиления эффекта, подтверждения сказанного латинское выражение используется Достоевским в «Подростке»: «Я должен был привести их, потому что я сел писать, чтоб судить себя. А что же судить, как не это? Разве в жизни может быть что-нибудь серьезнее? Вино же не оправдывало. *In vino veritas* <истина в вине>» (13, 363)<sup>2</sup>.

В художественных произведениях латынь часто являлась и средством характеристики героя, демонстрируя его образованность или статус. Эта функция довольно часто встречается и в произведениях Достоевского. В «Подростке» на квартире Дергачева во время спора о русском народе «кто-то кричал: “*Quae medicamenta non sanant — ferrum sanat, quae ferrum non sanat — ignis sanat!*” <Чего не исцеляют лекарства — исцеляет железо, чего не исцеляет железо — исцеляет огонь!>» (13, 44). Спор об утверждении Крафта, что русский народ является второсортным (или даже третьесортным), ведется научнообразным языком, латинские цитаты здесь вполне уместны. Образованный читатель узнал здесь и слова Гиппократов, и эпиграф к «Разбойникам»

---

<sup>1</sup> Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений. М.: Русский язык, 1982 [Электронный ресурс] // Академик. [http://dic.academic.ru/contents.nsf/latin\\_proverbs/](http://dic.academic.ru/contents.nsf/latin_proverbs/). Дата обращения: 30.09.2013.

<sup>2</sup> Авторы весьма спорной работы в разделе «Крылатые слова» указывают источник этого выражения: славянские слова «вино, верить» (Носовский В.Г., Фоменко А.Т., Фоменко Т.Н. Русские корни «древней» латыни. Языки и письменность Великой Империи. М.: Астрель, 2012. С. 560).

Шиллера. Важно и другое. Эта латинская фраза появилась уже в черновиках романа и связана она была с процессом долгушинцев<sup>1</sup>. Дело долгушинцев слушалось в Сенате летом 1874 г., они обвинялись в написании и распространении листовок, призывающих население к бунту. Сам А.В. Долгушин стал прототипом Дергачева<sup>2</sup>. Третья прокламация долгушинцев называлась «Как должно жить по закону природы и правды» и была связана с вопросом «о нормальном человеке». Именно эту идею о «нормальном человеке» Достоевский и берет из всей системы общественно-философских воззрений долгушинцев, делая ее в окончательном тексте центральным пунктом спора Подростка с кружком Дергачева. Приведенная выше латинская фраза фигурировала в материалах процесса: «Цитата эта появляется в черновиках в августе, в начальный период становления темы долгушинцев. И в окружающем контексте она выполняет — по сравнению с окончательным текстом — противоположную идейно-художественную функцию: “Разговор нигилистов (в восторге): “*Quae medicamenta non sanant*” и т. д., а потому пустить красного петуха повсеместно по городам и деревням, с того и начать. Вот как я понимаю (говорит это шпион, ему возражают)” <...> О необходимости пожаров говорит провокатор, но с ним не соглашаются. Достоевского привлекает самоотверженность нового поколения, его преданность идее в атмосфере “всеобщего разложения”»<sup>3</sup>. Ниже Тихомиров говорит: «Ввиду того, что Крафт сделал серьезные изучения, вывел выводы на основании физиологии, которые признает математическими, и убил, может быть, года два на свою идею (которую я бы принял преспокойно a priori), ввиду этого, то есть ввиду тревог и серьезности Крафта, это дело представляется в виде феномена» (13, 45). Версиков, рассказывая о Макаре Ивановиче Долгоруком, тоже употребляет традиционное латинское слово - подтверждение: «в этой среде есть характеры, и ужасно много,

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 15 т. Наука. Т. 8. С. 739–745.

<sup>2</sup> Долинин А.С. Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М.-Л.: Советский писатель, 1963. С. 87–92.

<sup>3</sup> Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 15 т. Т. 8. С. 742.



которые заключают в себе, так сказать, олицетворение непорядочности, а этого боишься пуще побоев. Sic <так>» (13, 107).

Иногда герои Достоевского цитируют известные латинские выражения. Ефимов, герой «Неточки Незвановой», уже несколько лет не берет смычок в руки, но уверен, что по-прежнему является первым музыкантом. В разговоре с князем другой герой, Б., дает характеристику противоречивым чувствам Ефимова, который «думает, что вдруг, каким-то чудом, за один раз, станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз: aut Caesar, aut nihil <или Цезарь, или ничто>, как будто Цезарем можно сделаться так, вдруг, в один миг» (2, 175). Первоисточником считаются слова, приписываемые Светонием императору Калигуле. Они же стали девизом Цезаря Борджиа, политического деятеля эпохи Возрождения, который предпринял попытку объединить Италию. Вероятно, и Б., и князь хорошо понимали не только контекст, в котором это выражение употреблялось, но знали и его источник; во всяком случае, с девизом Борджиа эти слова соотносились уже в XIX в.<sup>1</sup>

Достаточно часто герои произведений Достоевского употребляют крылатые выражения, когда известна лишь принадлежность выражения к античной эпохе, но неизвестны ни произведение, ни автор. В «Зимних заметках о летних впечатлениях», давая ироническую характеристику современному «прогрессу», Достоевский использует крылатое выражение, которое вряд ли связывалось с автором или произведением: «как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность — это только известная система податей, душа — *tabula rasa* <чистая доска>, вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека». Первое употребление этого латинского выражения связывают с сочинением Аристотеля «О душе», который сравнивал ум с покрытой воском дощечкой для записей, в близком значении оно употреблялось Авиценной. Не все читатели помнили, вероятно, что выражение «*tabula rasa*...» восходит к сенсуалистической теории познания

---

<sup>1</sup> Михельсон М.И. Ходячие и меткие слова. С. 304.

английского философа Д. Локка (1632—4704), который, опровергая теорию врожденных идей, доказывал, что представления и понятия людей возникают в результате воздействия предметов внешнего мира на органы чувств человека. Однако это латинское выражение Достоевский употребляет и шире, давая характеристику не душе, а государству: «Францию продолжали принимать за *tabula rasa*» («Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга»; 21, 225).

А слова «*non possumus*», по традиции означавшие папский отказ удовлетворить требования светской власти, которые использует князь Мышкин в споре о католицизме, были актуализированы не столь отдаленными событиями и были понятны широкому кругу читателей: «Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле, и кричит: «*Non possumus!* <не можем>» («Идиот»; 8, 450). Фраза восходит к «Деяниям апостолов» (4:17–20), так, согласно новозаветному преданию, ответили апостолы Петр и Иоанн на требование не проповедовать учение Христа. Эти слова стали формулой отказа римских пап выполнить требования светской власти. М.И. Михельсон приводит следующие примеры: «Папа Климент VII (1523—1532) этим словом отказал английскому королю Генриху VIII в разводе его с Екатериной Арагонской для вступления его в брак с Анною Боейн, с тех пор слово это означает — отказ»<sup>1</sup>. Но особенную известность во второй половине XIX в. выражение приобрело после того, как в 1860 г. Пий IX запретил Наполеону III уступить Романскую область итальянскому королю Виктору Эммануилу и отлучил последнего от церкви за присоединение этой области к Италии, о чем упоминается и в сборнике Михельсона. Для Достоевского выражение не потеряло актуальности и позднее, в статье «Иностранные события», рассуждая о «религиозном вопросе», он отметит: «Дело мы рассматривали так: папское “*Non possumus*” мы считаем настолько серьезным, что воплощаем в нем жизнь и смерть самой религии в Европе» (21, 243).

---

<sup>1</sup> Михельсон М.И. Ходячие и меткие слова. С. 250.

Многие фразеологические единицы, восходящие к латинскому языку, носят назидательный характер. А.А. Потебня считает их опорными сигналами, поскольку они служат заместителями больших масс мыслей и подобно алгебраическим формулам ускоряют процессы человеческого мышления<sup>1</sup>. К подобным выражениям современные исследователи относят, например, фразеологизм, употребленный Свидригайловым в разговоре с Раскольниковым<sup>2</sup>: «То, что в своем доме преследовал беззащитную девицу и «оскорблял ее своими гнусными предложениями», — так ли-с? (Сам вперед забегаю!) Да ведь предположите только, что и я человек есмь, et nihil humanum... <и ничто человеческое>» («Преступление и наказание»; 6, 215)<sup>3</sup>. Это перефразировка известных слов из комедии «Самоистязатель» римского драматурга Теренция (II в. до н.э.), которая является переделкой комедии греческого писателя Менандра. Она служит Свидригайлову для оправдания своих неблагоприятных поступков (о значении ее в романе «Братья Карамазовы» см. ниже). С этой же целью использует латинское выражение Лебедев в романе «Идиот», каясь в том, что передавал письма: «теперь опять ваш, весь ваш, с головы до сердца, слуга-с, после мимолетной измены-с! Казните сердце, пощадите бороду, как сказал Томас Морус... в Англии и в Великобритании-с. Mea culpa, mea culpa <Согрешил, согрешил>, как говорит римская папа... то есть он римский папа <...>» (8, 439-440). Эта латинская фраза — принятая у католиков формула покаяния во время исповеди. Выражение это широко употребляется в значении «виноват и раскаиваюсь». По мнению М.И. Михельсона, русский человек вообще склонен «блеснуть при случае — для украшения речи или большей убе-

---

<sup>1</sup> См.: Потебня А.А. Из лекций по теории словесности // Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. С. 520.

<sup>2</sup> См.: Гужанов С.И., Гужанова Т.С. Образование русских фразеологизмов на базе латинских крылатых слов [Электронный ресурс] // LibRar.Org.Ua — Библиотека українських авторефератів. [http://librar.org.ua/sections\\_load.php?s=philology&id=2244](http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=2244). Дата обращения: 30.09.2013.

<sup>3</sup> О значении этого выражения см. также: Варзонин Ю.Н. Античный текст во времени и пространстве: проблема рецепции // Настоящее как сюжет. Тверь, 2013. С. 57–58.

дительности ее — и иностранным метким словом»<sup>1</sup>. В приведенных случаях Свидригайлов и Лужин с помощью общеизвестных и общеупотребительных фраз переводят свои грехи из разряда единичных и конкретных в разряд «общечеловеческих», снимают с себя личную ответственность за них.

Степан Трофимович в «Бесах» использует латинское выражение с другой целью. В запале он обещает Варваре Петровне, что уйдет пешком, чтобы закончить жизнь у купца гувернером либо умереть где-нибудь с голоду под забором, и завершает речь: «Я сказал. *Alea jacta est!* <жребий брошен>», а чуть ниже подтверждает: «О, прощайте, мечты мои! Двадцать лет! *Alea jacta est!*» (10, 266). Это слова, которые, по преданию, произнес Юлий Цезарь, переходя со своими легионами через Рубикон (о значении выражения «перейти Рубикон» см. ниже). Интересно, что уже в конце XIX в. в сборник Михельсона в качестве примера употребления этого выражения в русской литературе вошла вышеприведенная цитата из романа «Бесы». Цель здесь вполне очевидна: возвыситься над собеседницей, подчеркнуть свою исключительность, образованность. Герой добился нужного эффекта, Варвара Петровна замечает: «Я ничего не понимаю полатыни». Еще один подобный пример. Петр Степанович в разговоре со Ставрогиным, описывая обстоятельства пожара, замечает: «я говорю серьезно, хоть и употребляю славянские выражения» («Бесы»; 10, 403). А ниже, как будто придавая вес своим словам: «хоть там теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел <...> но ведь с народом что поделаешь, особенно с погорелыми: *Vox populi vox dei* <Глас народа — глас божий>» (там же; 10, 404). Выражение, ставшее крылатым и восходящее к древнегреческой поэме Гесиода «Труды и дни» (VIII—VII в. до н. э.)

В «Маленьком герое (из неизвестных мемуаров)» рассказывается история бульдога, спасшего хозяйского сына. Узнав, что

---

<sup>1</sup> Михельсон М.И. Предисловие к первому изданию // Михельсон М.И. Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний). СПб., 1896. С. II.

любимца зовут Фриксой, княгиня пришла в ужас, «немедленно стали приискивать новое имя, по возможности древнее. Но имена Гектор, Цербер и проч. были уже слишком опошлены; требовалось название, вполне приличное фавориту дома. Наконец князь, взяв в соображение феноменальную прозорливость Фриксы, предложил назвать бульдога Фальстафом. Кличка была принята с восторгом и осталась навсегда за бульдогом» (2, 214). С приездом старушки княжны Фальстафу был запрещен вход наверх, он долгое время подкарауливал, когда дверь окажется открытой. Однажды его неожиданно позвали и «Фальстаф, почуяв, что дверь отворяют, уже приготовился скакнуть за свой Рубикон» (2, 214). Река Рубикон в 1 в. до н.э. была границей между Италией и Цизальпинской Галлией. После произнесения этих слов (возможно, на греческом языке), Цезарь во главе своей армии вступил на территорию северной Италии, что послужило началом длительной гражданской войны. Цезарь шел на определенный риск, имея небольшое количество сочувствующих ему легионов вблизи от Рима, но риск этот себя оправдал. Выражение «перейти Рубикон» («*Rubiconem transeo*») стало употребляться в значении «сделать решительный шаг». Достоевский использует стремление хозяйки к благозвучности клички собаки и обыгрывает стремление Фальстафа попасть в закрытые комнаты. Комический эффект создается за счет несовпадения высоких стремлений, к которым отсылают читателя слова Цезаря, возможных трагических последствий в случае неудачи, и мелких, незначительных стремлений собаки, которые, в случае неудачи, принесут огорчения только ей. В данном случае перед нами отсылка к общеизвестной конкретной ситуации, которая не требует дополнительных пояснений.

Можно привести еще несколько примером, когда Достоевский употребляет латинские выражения для контраста между возвышенным слогом и пустым или недостойным содержанием. Об отсутствии веры в Бога в «Братьях Карамазовых» говорится: «Губернатору Шульцу он прямо отрезал: *credo* <верую>, да не знаю во что» (14, 124). А Иван Карамазов в своей проникновенной речи предваряет появление Иисуса рассказом, как «всего лишь накануне в “великолепном автодафе”, в присутствии ко-

роля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, до была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков *ad majorem gloriam Dei* <к вящей славе господней>» (14, 226). Это же выражение в том же значении и с близким контекстом Достоевский позднее употребит в «Дневнике писателя» за 1876 г.: «Дон Карлос, родственник графа Шамбора, тоже рыцарь, но в этом рыцаре виден Великий Инквизитор. Он пролил реки крови *ad majorem gloriam Dei* и во имя богородицы, кроткой мольщицы за людей, «скорой заступницы и помощницы», как именует ее народ наш» (22, 93).

Термин «*pro et contra* <за и против>» неоднократно встречается в черновиках Достоевского, его значение подробно рассматривает Л.М. Лотман в статье «Достоевский и Н.Г. Помяловский»<sup>1</sup>. Она отмечает сходство в употреблении этого латинского выражения писателями. Череванин, герой романа Помяловского «Молотов», объясняет: «Диалектика у меня развита. Мой отец преподавал реторику и логику, и он, бывало, заставлял меня на одну и ту же тему говорить *pro* и *contra*». Но Череванин не столько излагает «*pro* и *contra*» идей, сколько спорит с общепризнанными истинами (выдвигает «*contra*»), предоставляя выступать с защитой принципов и идеалов («*pro*») Молотову, поэтому «*pro* и *contra*» становится не столько методом рассуждений Череванина, сколько выражением характера беседы героев. Центральное место в V книге романа «Братья Карамазовы», которую Достоевский озаглавил «*Pro et contra*», занимают главы, в которых рисуется «сократическая» беседа «русских мальчиков», братьев, представляющих противоположные философско-этические принципы и психологические типы, но совместно, в ходе разговоров, ищущих истину.

Лотман подчеркивает, что черты сходства в романах «Братья Карамазовы» и «Молотов» не являются результатом следования Достоевского за Помяловским, а тем более подражания, но их можно и должно рассматривать как последний отголосок близо-

---

<sup>1</sup> Лотман Л.М. Достоевский и Н.Г. Помяловский // Достоевский и его время. Л.: Наука, 1971. С. 126–129.

сти литературных интересов начала 1860-х гг. у двух писателей. Сходство «Pro и contra» Достоевского и Помяловского коренится и в некоторой общности культуры рассуждения, метода мышления обоих писателей, хотя сформировался этот метод у них разными путями.

Вообще, разговор, во время которого Иван Карамазов рассказывает Алеше свою легенду, постоянно сопровождается латинскими выражениями. Алеша уточняет: «Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? — улыбнулся всё время молча слушавший Алеша, — прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное *qui pro quo*? <“одно вместо другого”, путаница, недоразумение>» (14, 228). Иван не возражает: «Прими хоть последнее <...> хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет», «не всё ли равно нам с тобою, что *qui pro quo*, что безбрежная фантазия?». Инквизитор в заключении своей речи говорит Христу: «Завтра сожгу тебя. *Dixi* <так я сказал>» (15, 237). Латынь присутствует и в разговорах Ивана с чертом. Жалобы на ревматизм черт оправдывает фразой: «Сатана *sum et nihil humanum a me alienum puto* <я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо>», понравившейся Ивану: «Сатана *sum et nihil humanum...* это неглупо для черта! <...> А ведь это ты взял не у меня, — остановился вдруг Иван как бы пораженный, — это мне никогда в голову не приходило, это странно...» (15, 74). В черновиках к роману встречается другое написание этой фразы и несколько другая реакция Ивана: «*Satana sum et nihil humanum a me alienum puto*. Ив(ан): «*Humanum??* Это не глупо для сатаны. Вот это не я выдумал. Откуда ты взял?» (15, 335). В контексте «Братьев Карамазовых» эта фраза в устах Свидригайлова (см. выше) может получить дополнительные значения.

Еще одно выражение, важное для понимания романа, этимологически отсылает нас к античности. Фразы «днем с огнем» и «ищу человека» связывают с именем философа-киника Диогена из Сипопа (ок. 414—ок. 323 до и. э.)<sup>1</sup>. Имя философа и общий

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Данилевский Р.Ю. «Ищу человека» (фразы и образы одного старинного сюжета) // Русская судьба крылатых слов / Отв. ред. В.Е. Багно. СПб.: Наука, 2010. С. 383.

смысл сравнения сохраняются в речи Дмитрия Карамазова: «Именно тем-то и мучился всю жизнь, что жаждал благородства, был, так сказать, страдальцем благородства и искателем его с фонарем, с Диогеновым фонарем, а между тем всю жизнь делал одни только пакости...». По мнению Р.Ю. Данилевского, «общим смысловым субстратом разветвившейся фразеологии, связанной с Диогеном, остается поиск некой идеальной, истинной добродетели, той правды, которой недостает, как считается, в окружающей жизни и в характерах людей»<sup>1</sup>.

Часто Достоевский использует устойчивые фразы-латинизмы, которые являлись терминами в какой-либо сфере (или воспринимались как таковые). Так, в «Записках из Мертвого дома» приводится медицинская терминология. Ординатор, сочувственно относившийся к арестантам, даже зная, что они не больны, «спокойно записывал им какую-нибудь *febris catarrhalis* <катаральная лихорадка> и оставлял лежать иногда даже на неделю. Над этой *febris catarrhalis* все смеялись у нас. Знали очень хорошо, что это принятая у нас, по какому-то обоюдному согласию между доктором и больным, формула для обозначения притворной болезни; «запасные колотья», как переводили сами арестанты *febris catarrhalis*. Иногда больной злоупотреблял мягкосердием лекаря и продолжал лежать до тех пор, пока его не выгоняли силой. Тогда нужно было посмотреть на нашего ординатора: он как будто робел, как будто стыдился прямо сказать больному, чтоб он выздоравливал и скорее бы просился на выписку, хотя и имел полное право просто-запросто безо всяких разговоров и умащений выписать его, написав ему в скорбном листе *sanat est* <здоров>» (4, 143). В этом же ряду — немецкий ученый, «нарочно приезжавший из Карльсруэ исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке четыре тома *in quarto* <в одну четверть листа>» (2, 297). Формат издания в четверть печатного листа (примерно 45×30 см), был широко распространен в ранний период книгопечатания, сейчас его применяют, в основном, при издании художественных альбомов. Объем изда-

---

<sup>1</sup> См.: там же. С. 394.



ния и незначительность предмета исследования должны были вызвать у читателя улыбку. Латинское выражение использует в своей речи защитник Фетюкович: Кто мне дал эту власть, чтоб учить отцов? Никто. Но как человек и гражданин взываю — *vivos voco!* <призываю живых>» (15, 170).

Часто в текстах Достоевского использовались латинские слова, ставшие общеупотребительными и не требовавшие перевода во второй половине XIX в.: «У нас развода нет, но *de facto* <фактически> они развелись» («Униженные и оскорбленные»; 3, 438); «остановиться на *statu quo* <существующее положение>» («Зимние заметки о летних впечатлениях»; 5, 69); «это *sine que non* <обязательное условие>» (там же; 5, 97); «начать “идею” я непременно положил один, это *sine qua*» («Подросток»; 13, 68; это же выражение: «Братья Карамазовы»; 14, 495) «слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами (*sic*) <так>» («Зимние заметки о летних впечатлениях»; 5, 206); «красоты жизни <...> — *nihil est* <ничто>» («Преступление и наказание»; 6, 407); «на наше прекрасное отечество обращен таинственный *index* <перст>» («Бесы»; 10, 314); *millenium* <тысячелетнее царство> (11, 182); «поселится с ней *incognito* <тайно>» («Братья Карамазовы»; 14, 330).

Приведенные выше способы использования латинских слов и выражений имеют общую особенность: они употреблялись в латинской графике и без перевода, поскольку адресат Достоевского — читатель не просто грамотный, но образованный. Правда, иногда встречаются у Достоевского случаи смешанной графики. Дмитрий Карамазов, пересказывая разговор с Ракитиным, приводит свой афоризм: «де мыслибус *non est disputandum* <о мыслях не спорят>, хороша острота?» (15, 28). Интересно, что именно в такой графике эта фраза записана уже в черновиках романа (15, 326).

Используются в произведениях Достоевского и латинские выражения, переведенные на русский язык с помощью калькирования. Так, Ипполит в разговоре с князем Мышкиным замечает: «Вы, кажется, ничему не удивляетесь, князь, — прибавил он, недоверчиво смотря на спокойное лицо князя, — ничему не удивляться, говорят, есть признак большого ума; по-моему, это

в равной же мере могло бы служить и признаком большой глупости...» (8, 465). Возможно, имеется в виду ставшее крылатым выражение «*Nil (Nihil) admirari*» <Ничему не удивляйся>, принадлежащее Горацию («Послания», кн. I, № 6, ст. 1)<sup>1</sup>.

В речи образованных слоев русского общества того времени часто встречались слова, имеющие латинский корень, но настолько освоенные русскими, что передающиеся с помощью графики языка-реципиента (транслитерация). Присутствуют они в значительном количестве и в произведениях Достоевского. Это, например, каплан (капеллан; от лат. *capellanus*) — католический священник, чаще всего при домашней церкви, у Достоевского — при военном отряде («Село Степанчиково и его обитатели»; 3, 133); гомункул (от лат. *homunculus*) — человек, которого, по мнению средневековых алхимиков, можно получить искусственным путем, у Достоевского — ироническое обозначение всемирного общечеловека, живущего вне народа и национальности; мефитический (от лат. *mephiticus*) — удушливый, зловонный, древнеиталийская богиня Мефитис охраняла от вредных испарений, у Достоевского так характеризуется воздух казармы («Записки из Мертвого дома»; 4, 48); легитимистка (от лат. *legitimus*) — сторонница легитимной, т.е. «законной», династии («Идиот»; 8, 154); нунций (от лат. *nuntius*) — посол папы (там же; 8, 164); сенситивнее (от лат. *sensitivus*) — чувствительнее (там же; 8, 433); лигатура (от лат. *ligatura*) — примесь меди или олова к золоту для придания ему большей твердости, у Достоевского: «чистейшее золото, без лигатур» (там же; 8, 445); мизер (от лат. *miser*) — бедный, убогий, у Достоевского — в значении: убожество («Бесы»; 10, 275); позитивизм (от лат. *positivus* — положительный) — философское направление, утверждающее, что подлинное знание может быть получено лишь в результате опытных данных (там же; 10, 144); пиетизм (лат. *pictas* — благочестие); у Достоевского — экзальтированное или притворное благочестие (там же; 10, 238); медеянский шенок (от *Mediolanum*, латинского названия города Милан) — порода догов (14, 472); аудиенция (от лат. *audientia* — слушание) —

---

<sup>1</sup> См. об этом: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 458.

официальный прием у высокопоставленного лица и др. В «Записках из Мертвого дома» чиновники, не прижившиеся в Сибири, «с нетерпением отбывают <...> свой законный термин службы, три года, и по истечении его тотчас же хлопочут о своем переводе» (4, 5). «Законный термин службы» (лат. *terminus* — граница) — т.е. установленный срок службы. В этом перечне не учитываются латинские слова, прочно вошедшие в русский язык и не воспринимающиеся как заимствования, в т.ч. церковная лексика, поскольку «латынь в качестве официального языка церкви и всей культуры, основанной на религии, взаимодействовала с “неофициальными” местными языками»<sup>1</sup>.

Использует Достоевский латынь и в своих собственных записках, в рукописях произведений, черновиках, набросках. В черновиках и планах к романам «Преступление и наказание», «Идиот» он часто использует знак NB (отметим, что NB встречается и в основном (окончательном) тексте «Братья Карамазовых»: «Nota bene <заметь особо>. Фамилия Грушеньки оказалась “Светлова”»; 15, 100); слова, выражающие степень важности, последовательность событий и пр.: *memento* <помни>, *ergo* <следовательно>, *interim* <между тем>, *summarium* <итог>, *sine qua non* <обязательное условие> и др. В черновиках к «Преступлению и наказанию» есть и развернутые фразы: «О любви нет между ними ни слова. Это *sine qua non* <непременно>» (7, 88); «Разумихина на лестнице встречает (поручение исполнял). *Qui pro quo* <Недоразумение>» (7, 94); «Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием. Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (т.е. непосредственно чувствуемое телом и духом, т.е. жизненным всем процессом) приобретается опытом *pro* и *contra* <за и против>, которое нужно перетащить на себе» (7, 155); «Раскольников тотчас смекнул *qui pro quo* <в чем дело>» (7, 171). В черновых набросках к «Идиоту» тоже, кроме отдельных слов, есть фразы, входящие в состав предложения: «Сцены у Умецкой. Надо живее. Вся ее

---

<sup>1</sup> Иванов В.В. Латынь и славянские языки. Проблемы взаимодействия // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М.: Наука, 1989. С. 25.

*furia* <ярость>» (9, 210); «*Intimus* <тайно> Н(астасья) Ф(илипповна) услышала <...>» (9, 246); «Лебедев — *factotum* <доверенное лицо> В(ельмон)чека» (9, 271); «Разжег в ней ревность до *pes plus ultra* <крайности>» (9, 278). Иногда латинские знаки-слова встречаются достаточно частотно: «NB, NB. *Finis* <конец> тот, что Аглая предается Н(астасье) Филипповне), а Ганя душит Аглаю. NB. Любовь из тщеславия» (9, 219). Та же ситуация наблюдается в черновиках «Бесов»: «Действительно поэт. *Dies irae* <День гнева (судный день)>» (11, 66); «Приезд сына — описание первых походов (NB. Но *incognito* <тайно, скрывая свое имя>)» (11, 128); «Лиза на станции впадает в *delirium tremens* <белую горячку>» (11, 202); «NB. Тут вышло *qui pro quo* <недоразумение>» (11, 242); «более или менее знаю все *pro* и *contra* <за и против>» (11, 268). Часто Достоевский использует в черновиках и латинское выражение «*post scriptum* <после сказанного>», им же он завершает циклы бесед за август и сентябрь в «Дневнике писателя» (1876).

Разумеется, здесь собраны далеко не все случаи употребления Достоевским латинских слов и выражений: в речи персонажей, в словах автора, в статьях, в черновиках и заметках — в каждом случае функцию латинизмов нужно рассматривать особо. Однако мы не должны забывать, что для Достоевского знание латыни не являлось еще показателем образованности. В «Дневнике писателя» он горячо настаивает, что человек должен с рождения говорить на родном ему языке, на нем же учиться мыслить: «рассуждения о вреде усвоения чужого языка, вместо своего родного, с самого первого детства — бесспорно смешная и старомодная тема, наивная до неприличия, но, мне кажется, вовсе еще не до того износившаяся, чтоб нельзя было попытаться сказать на эту тему и свое словцо» (22, 79). Поэтому, как бы хорошо Достоевский ни знал мертвые древние или современные европейские языки, преимущество он все-таки отдавал языку родному: «На высшую жизнь, на глубину мысли заимствованного, чужого языка не достанет, именно потому, что он нам все-таки будет оставаться чужим; для этого нужен язык родной, с которым, так сказать, родятся» (23, 80).

*С. А. Васильева*

## ЗНАЧИМОЕ ОТСУТСТВИЕ: КЛАССИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВАС. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

Творческое наследие Немировича-Данченко настолько объемно, что в его книгах можно обнаружить, кажется, абсолютно все — удивительно, что настолько избыточный материал так редко используется. При внимательном рассмотрении, впрочем, впечатление меняется. Мне уже случалось писать об искусстве исторических аналогий, которые проводит автор-очеркист, о том, как оно демонстрирует и уровень исторического мышления, и ожидания русского общества, которым потакает популярнейший беллетрист, и философско-исторические представления, сложившиеся к началу 1880-х гг.<sup>1</sup> Сознательное вытеснение истории, упрощение и забвение ее уроков приводит к плоским построениям, не имеющим ничего общего ни с самими событиями, ни с философией истории. А обращение к использованию древних языков в текстах подтверждает вывод о сознательном построении беллетристической стратегии, в рамках которой из текста устраняется все, что может повредить его упрощенному истолкованию.

Разумеется, путевые очерки Немировича-Данченко содержат некоторое количество латинских цитат, как правило остающихся без пояснений. Например, в сборнике «венедианских» очерков «Лазурный край» читаем: «Караччио и Джонтиле Беллини рисуют нам на своих полотнах венедианок... в тонких рубашках и в коротких рукавах, затканых золотом и серебром. Хвосты у них были так длинные, что Мауро Лани в письме к Джону Кристофу Моро рекомендует: “ne mulieres tam longas caudas in vestimentis habeant, et per terram trahant, quae res diabolica est”. Роскошь женщин разоряла семейства».<sup>2</sup> Здесь латинская цитата встраивается в визуальный контекст

---

<sup>1</sup> См.: Человек и война в русской литературе: Статьи и материалы. Тверь: ТвГУ, 2004. С. 76–81.

<sup>2</sup> Немирович-Данченко В. И. Лазурный край. СПб., 1896. Т. 1. С. 81–82.

(описанию предшествуют иллюстрации), словесный ряд — лишь дополнение к экзотике; а иронический характер замечания Лани остается не развернутым в тексте.

Еще показательнее другой пример: «...вдоль карниза портреты дождей. Мое внимание остановило место, на котором когда-то был начертан один из них. Портрет замазан черным, и над этим пятном значится надпись: *hic est locus Marini Falieri decapitate pro criminibus*.

Несчастный Мариино Фальеро!

Человек, всю свою жизнь служивший республике, бивший ее врагов, вплетший в ее боевой венок новые лавры — и все это для того, чтобы через семь месяцев после своего избрания в дожи умереть позорной смертью изменника!»<sup>1</sup>

Далее излагается — и весьма подробно — история Фальеро; но лейтмотивом становятся не латинские фразы, а несколько раз повторенное с вариациями эмоциональное восклицание: «Несчастный Марино Фальеро!» Дистанция, которую обеспечивает использование древнего языка, приводит к отдалению читателя от предмета путешествия (а они и так разделены значительным пространством). Поэтому даже самые убедительные и внятные «классические» суждения в травелогe оказываются на периферии.

Там, где латинские фразы воспроизводятся в описаниях древних памятников, документальная составляющая преобладает. И даже в подобных случаях важно, что цитата — лишь внешнее, яркое выражение ключевой, важной с исторической точки зрения характеристики; ее появление в тексте не мотивировано ничем, кроме стремления сохранить иллюзию достоверности: «В соборе чудесные мавзолеи и монументы: Лоренцо Вениеро, дожа Маркантонио Маммо, Леонардо Дона... дожа Доменико Микиелли с надписью *Terror Graccorum jacet hic*. Этот памятник изваян Лонченной в 1637 году. Доменики Микиелли — один из самых воинственных дождей этой воинственной республики»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Там же. С. 121.

<sup>2</sup> Там же. С. 198.

Прошлое и настоящее противопоставляются как время знания и время незнания. Особенно ярко это проявляется в текстах, посвященных народам, история которых уходит корнями в классическую древность: «В то время народ находился на гораздо высшей степени умственного развития. Иуде Черному только в Дербенте попался раввин, знающий древнееврейский язык, остальные раввины не имели о нем и понятия.

— Знаете ли вы по-древнееврейски?

— Моя амларец (я неграмотный), — отвечали ему всюду».<sup>1</sup>

Понятно, что отсылки к классической культуре отсутствуют в романах из уголовного мира и в книгах для народного чтения; однако менее понятен отказ от них во многочисленных путевых заметках, очерках, повестях и романах из жизни «образованных сословий». Герои Немировича-Данченко демонстрируют завидную эрудицию, но древние языки зачастую (даже когда речь идет об Италии, Греции, Израиле) оказываются невостребованными. Причина этого, думается, проста: беллетристические формулы у писателя поставлены на службу современным потребностям. От автора (и от его героев) требуется быстрота реакции на внешние раздражители. Языки-посредники эту реакцию замедляют, текст становится более насыщенным, но менее динамичным, что не соответствует авторскому заданию: создание «мгновенных снимков», в которых основное внимание уделено происходящему здесь и сейчас, а не подтекстам и надтекстам.

Очень эффектно с этой точки зрения использование латинского выражения в одном из самых популярных романов Немировича-Данченко «Плевна и Шипка» (1881).

Большей частью батальные сцены в этой книге отличаются исключительным динамизмом. Недаром они почти полностью вошли в детскую версию того же романа, изданную под названием «Горные орлы» (1895). И финал сражения предстает перед читателем в главе XXIII, озаглавленной «Gloria victis!»: «В мас-

---

<sup>1</sup> Немирович-Данченко В. И. Воинствующий Израиль. М., 1880. С. 49.

се турок уже совсем медленно двигались отступающие...»<sup>1</sup> Естественно, в основе сюжет о поражении римлян от галлов; галльский вождь Бренн, когда на весы был положен выкуп, бросил на ту чашу, где лежали гири, свой меч, со словами *Vae victis* («горе побеждённым») — с тех пор выражение подразумевает, что условия всегда диктуют победители, а побеждённые должны быть готовы к любому трагическому повороту событий.

Пафосная латинская формула<sup>2</sup> сопровождается ложноклассическими выражениями, еще раз подчеркивающими чужеродность «древних» фраз в актуальном дискурсе. Установке на современность и присутствие читателя классические инвариантные изречения противоречат:

«Один из штабных даже умилился.

— Такое поражение стоит победы! — воскликнул он, окидывая поле битвы марсиальным взглядом.

— Это — лучшая страница нашей военной истории! — поддержал другой.

— Да, для солдата! — закончил кто-то штабные восторги...

*Gloria victis!*

Слава побежденным... Слава им, честно умиравшим на облитым кровью валах, слава им, ушедшим только тогда, когда на каждого пришлось по сотне врагов! <...> Слава этим, именно этим побежденным! Вечная слава» (373).

Далее действие переносится непосредственно на поле боя — и здесь латинская версия фразы становится неуместной:

«Со всех сторон слетаются победители... Горе побежденным! Клювы победителей остры, когти их цепки...» (379). Правильная версия исторического выражения русифицируется и переносится в рассказ о битве, «неправильная» — выносится за рамки повествования.

Точно так же излишними оказываются древние языки почти во всех текстах Немировича-Данченко; ускоряющийся ритм

---

<sup>1</sup> Немирович-Данченко В. И. Плевна и Шипка. Пг.: Изд. П.П. Сойкина, б/г. С. 369.

<sup>2</sup> Следует отметить, что рассказ «*Gloria victis!*» Элизы Ожешко был посвящен участникам польского восстания 1863 года; позднее так был озаглавлен сборник очень популярной в России писательницы.



прозы, установка на актуальность беллетристического сочинения, стремление соответствовать ожиданиям аудитории — все это приводит к устранению из текстов одного из самых плодотворных русских литераторов всяческих апелляций к классике. В поздних текстах мы обнаруживаем лишь редкие и случайные упоминания о латыни и греческом, что в целом показательно для массовой литературы начала XX века.

Однако в ранних произведениях, особенно в книге очерков «Соловки» (1874), мы видим несколько иные особенности использования классического материала. Текст с «жизненной» установкой неминуемо исключает текст «книжный» — это своего рода минус прием, отсутствие материала древних языков даже в тех случаях, когда он подразумевается. Герои Н.Д. очень часто начитанны, но эту начитанность и образование старательно скрывают, как персонажи его рассказов о революционерах. Но если текст используется, он встраивается в непривычные ряды и происходит как бы разрушение того классического основания, на котором покоится знание латыни и греческого. Вот показательный пример:

— Сейчас становой в село, мужиков на цугундер — так вас, растак... Кузькину мать помянул. — Розог! Сию минуту подать!

— Далеко парень пойдет. Губерния наша отдаленная. Университетских нам не требуется!

— Н-нет. Нам модников не надо, — восхищался собеседник. — Нам дельцов подавай; чтоб все мог — единым взмахом. Veni, vidi. Vici...<sup>1</sup> Изволили учить в семинарии?

— Ну, а казенная палата, что?

— По уведомлении удовлетворилась. Мы ей тоже очки втерли: тотчас-де по получении отношения были приняты самострожайшие и наискорейшие меры, причем такому-то предписано неукоснительнейше взыскать, ну, и прочее...

— Неукоснительнейше?

— Неукоснительнейше...

— Хорошие слова есть, ежели кто настоящим стилем владеет!»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Пришел, увидел, победил (*лат.*)

Обратим внимание на лексический ряд «становой, цугундер, кузькина мать» — а потом семинарские познания и канцелярский жаргон, который и оказывается «настоящим стилем». В такой «словесной истории» материал древних языков очень важен — но лишь как материал, как фон для сравнения.

Конечно, латынь выучить легко — но нужна ли она? Вот как изложены успехи зырянского самородка в той же повести: «Привез к нам инок брата своего, зырянского мальчика. Оставил в монастыре. Пуглив мальчонка был. Привели его в класс, показали азбуку — к вечеру он уж и знает ее. А через два дня сам читать стал. И что ему ни показывали, все понимал разом. Книжки читать начал — не оторвешь, бывало. Месяца через четыре лучше монахов все священное писание знал. Память такая, что прочтет страницу, и все расскажет слово в слово. Взял библию на славянском языке и на латинском, словарь взял (один монашек, из попов, помог ему), через три месяца уж и латынь знал. Задачи какие арифметические — разом понял. Учителя своего в тупик ставил. Задаст, бывало, учителю задачу, тот бьется-бьется над ней, а зырянин смехом решит.

— По нашим местам, — вставил богомолец, — не дай Бог такой земли; что с ней поделаешь? Тут и соху, и борону изломаешь!

— Камень, известно камень. На нем не посеешь!

— Сказано твердь — ну, и шабаш!

— Твердь это небо, — наставил монах. — А камень по-гречески — Петра...»<sup>2</sup>

Можно воспользоваться этим фрагментом для создания нехитрой метафоры: если автору «классического» текста «классический» язык может показаться «камнем», основанием, то автор-беллетрист знает, что означает греческое слово — и у него нет в распоряжении яркого образа, но есть имя, которым можно воспользоваться. Не буду настаивать на этой аналогии, но сами

---

<sup>1</sup> Немирович-Данченко В.И. Соловки. Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами // На кладбищах. Воспоминания и впечатления / Сост., примеч. Т. Ф. Прокопова. Вступ. статья В. Н. Хмары. М.: Русская книга, 2001 (Русские мемуары. XIX—XX вв.)

<sup>2</sup> Там же. С. 29.

редкие истолкования древних слов и фраз показывают, сколь чужероден для беллетриста этот материал.

В популярной книге о Скобелеве редкие латинские фразы использованы наиболее традиционно. Перед нами — текст о герое, о человеке, выходящем за рамки обыденности. Для того, чтобы объяснить этого героя, нужно прибегнуть к удаленному от современности материалу:

«В одно, однако, верую и исповедую, что наша "крамола" есть в весьма значительной степени результат того почти безвыходного разочарования, которое навязано было России мирным договором, не заслуженным ни ею, ни ее знаменами. В истории есть один пример подобного же губительного нравственного падения, вызванного причинами схожими, — это могущественная тогда Испания — после сражения при Лепанто. У нее также отшибло память сердца, и люди, ошеломленные свидетели отрицательного для родины мирового события, не в силах были передать потомкам идею святости и незыблемости государственного идеала. Поколение, сражавшееся при Лепанто, оставило истории лишь одно имя — автора "Дон Кихота" безрукого Сервантеса, гениальная сатира которого потрясла до основания католическую, монархическую и рыцарскую Испанию, уготовив вековое падение этой страны. Сервантес — тот же русский нигилизм. *Caveant consules*»<sup>1</sup>.

Может показаться, что перед нами только привычное обращение к латыни как источнику моральных максим. Но если внимательно рассмотреть фрагмент, мы увидим несколько более сложную организацию. От состояния нации мы переходим к историческим аналогиям, от них — к психологии, далее к художественному творчеству, воплощающему травматическое состояние; потом беллетрист делает кульбит — и возвращает нас в настоящее. Но лишь для того, чтобы преподнести очередную историческую тему для размышлений и оставить читателей перед надвигающейся опасностью. Этим духом опасности, реванша, угрозы проникнута вся книга о Скобелеве; ее настроение может показаться мажорным, даже триумфальным — это не так. Пара-

---

<sup>1</sup> Там же. С. 118.

ноидальные военные настроения заметнее у Немировича-Данченко не в военных очерках (таких, как «Год войны»), а в послевоенных («Плевна и Шипка», «После войны»). В их ряду — и «Скобелев». Фраза пусть следят консулы, традиционно истолковываемая как «будьте настороже», связана с передачей власти в опасные моменты консулам ради спасения Империи. Конечно, роль Скобелева аналогична роли консула, и действовать он и ему подобные должны так же, как римские герои. Но полную версию лозунга не стоило напоминать: «Пусть консулы бдительно следят, чтобы республике не было причинено никакого ущерба!» И писатель, оперируя традиционным набором устойчивых фраз, с легкостью управлялся с ними — иногда ошибаясь: «Служил у Скобелева под началом некий невидный, ныне уже отправившийся *ad partes* генерал». Этой ошибки никто с самого первого издания так и не исправил; впрочем, так ли она важна?

Стоит подробнее остановиться на одном из поздних собраний путевых очерков — «Край Марии Пречистой» (1902), посвященном Андалусии; примеры, которые можно отыскать в этой роскошно изданной книге, характерны для большинства текстов «зрелого» Немировича-Данченко.

В очерках латинский текст встраивается в общую прихотливую структуру, имитирующую течение жизни: за русским следует латынь, ее сменяем французский: «Кастильское солнце не шутит. Только одно место является оазисом, это *Ara Jovis* (алтарь Юпитера) древних, — Аранхуэс, весь закутавшийся в ревнивую тень платанов. Вероятно, только здесь и можно петь: *Fleuve du Tage, Je fuis tes bords heureux*».<sup>1</sup>

Латинский текст становится пояснением непонятных исторических реалий: «Когда король Хиндасвинд, дворец которого в Толедо еще показывают в одной старой улице <...>, заменил римские законы своим *Fuero Juzgo* (*Forum Judicum*), то это уложение все оказалось основанным на указах императорских и на

---

<sup>1</sup> Немирович-Данченко В. И. Край Марии Пречистой. СПб., 1902. С. 67.

началах христианства, чем не могут похвалиться другие средневековые варварские кодексы».<sup>1</sup>

И описание толедского клинка создается на основе античной формулы

«— Я только и жду англичанина.

— Зачем?

— Э, это все равно. Он мне даст тысячу фунтов за этот *cultrum toledanum*.

Что это производство должно было развиваться в Испании, ясно из обычая, общего всем здесь в те времена — носить оружие».

Некоторые сочетания «бытового» и «высокого» могут показаться непривычными для путевого текста — и очень показательны для творчества Немировича-Данченко. Двустипшие с латинским финалом повторяется дважды: «И опять безлюдье, и опять ни звука. Минуты бегут за минутами... Бьет два часа ночи... Откуда-то слышится грустный напев серено (ночного сторожа):

Два часа... Ясно...

*Ave Maria Purissima...*»<sup>2</sup>

В тех случаях, когда даются ожидаемые, казалось бы, латинские названия, они производят едва ли не пародийный эффект: «Видите ли, давно это было, еще до мавров. В старой базилике, стоявшей тут, правил службу архиепископ, ныне во святых отец наш Ильдефонсо. он долгое время трудился над книгою *De virginatae sanctae Mariae*».<sup>3</sup>

Писатель фиксирует не столько саму древность, сколько ее странность и необычность; это, кстати, относится и к языку. О странности древности и языка ее: «...не обезличивать часто странные памятники средних веков! Легенда рассказана в *Sentinel contra Judios* (Страж против иудеев). Приводим ее здесь, как характерное произведение средневекового вымысла».<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Там же. С. 74.

<sup>2</sup> Там же. С. 84. Ср. С. 450.

<sup>3</sup> Там же. С. 106.

<sup>4</sup> Там же. С. 113.

Отсюда недалеко уже до метафоры, связывающей мертвый язык и мертвое время.<sup>1</sup> Именно с этим связана незначительность упоминаний о классических языках даже в путевых текстах Немировича-Данченко: «Весь монастырь таков. Давно уже ни Ave Maria, ни Gloria in excelsis не звучали торжественно и благоговейно под его сводами. Я входил в ячейки-кельи и там все было покрыто пылью, на которой даже мыши не оставили следов. Именно мертвый храм, мертвая обитель...»

Итог описания древностей города Толедо в книге путевых очерков таков:

«И вдруг мне почудился на рубиновом небе этот черный мавзолей безвременно угасшего народа.

Неужели он не воскреснет?

Как будто в ответ священник, сидевший рядом со мной, проговорил, вздыхая:

— *Beati qui moriuntur in Domino!*»

В самые поздние годы Немирович-Данченко несколько раз использует крылатые выражения для характеристики героев — но это происходит в ином жанре. В мемуарах латинский текст становится ключом к пониманию героической личности:

«И Галлиполи был тоже в наших руках. Мы могли бы эти шесть маленьких мониторов не выпустить из Мраморного моря. Даже Бисмарк дал царю, едва ли не в первый и не в последний раз, искренний, дружеский совет: *beati possidentes*.<sup>2</sup> Великий князь Николай Николаевич умолял его согласиться на бескровное занятие Константинополя. Армия дрожала от нетерпения — ведь для нее это было бы единственным заслуженным удовольствием за все перенесенное ею. Скобелев из Сфунто-Георгио ночью прискакал к главнокомандующему, предложив ему сейчас же занять город с его дивизией и завтра судить его, генерала, по всей строгости военно-полевых законов, только не отдавать обратно Византии. Весь Петербург, вся Россия ждала этого

---

<sup>1</sup> Там же. С. 126.

<sup>2</sup> Счастливы обладающие (*лат.*)

заключительного аккорда, раз и навсегда решавшего кровавый восточный вопрос...»<sup>1</sup>.

Читатели отмечали в книгах Немировича-Данченко обилие греческих топонимов, мифологических персонажей и т.д.; но писатель полностью игнорировал языковые реалии. Это касалось и современности — в тех же венецианских очерках он гораздо больше пишет о забавном произношении «маэстро Сукодавлева из Ветлуги», чем о речи жителей Венеции. Язык — посредник между событием и читателем — и чем меньше внимание этому посреднику уделяется, тем выгоднее для беллетриста. И такая стратегия все шире распространялась в литературе конца XIX столетия. Сочинения на злобу дня писались подчас эрудированными людьми для столь же эрудированной публики; но классический фон мог помешать «современному» воздействию. И древние языки оказывались невостребованными...

*А. Ю. Сорочан*

---

<sup>1</sup> Немирович-Данченко В. И. Отечественный цинциннат (О Лорис-Меликове) // Немирович-Данченко В. И. На кладбищах. М.: Терра, 2001.

### ГЛАВА III

## ЖАНРОВЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

### КЛАССИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ В ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА

Использование древних языков в русской литературе XIX столетия (от отдельных упоминаний до обширных цитат) до сих пор не становилось предметом обстоятельного анализа, хотя появилось немало работ, посвященных отдельным «крылатым словам» и «наследию античной классики»<sup>1</sup>. Для характеристики трансформаций языковых элементов следует всесторонне проанализировать и распространенность знаний о языке, и степень их актуализации, и формы интерпретации древних языков в новой литературе.

Конечно, исторический роман не отражает всего многообразия использования классических формул. В начале XIX столетия, в «романах воспитания» и плутовских романах (например, у В. Т. Нарезного в романах «Амфитрион», «Российский Жильб-лаз») иноязычные фрагменты весьма обширны. Но цитаты на древних языках выполняют учительную функцию, содержат мораль или выводы из пережитого опыта; любопытно, что в исторических романах Нарезного ничего подобного не обнаруживается. Однако параллельно педагогический эффект трансформируется — в сочинениях Н. М. Карамзина, других сентименталистов словоупотребления становятся эпизодическими, каждое используемое слово предполагает пояснение. Литератор исполняет функцию педагога, сообщающего информацию о новых для читателя лексемах. Описание таких словотолкований было бы интересно не только с лингвистической точки зрения. Харак-

---

<sup>1</sup> См., напр.: Русская судьба крылатых слов / Ред. В.Е. Багно. СПб.: Наука, 2010.



теристика языковедческих усилий литераторов поясняет и общие философские установки, которыми руководствуются представители изящной словесности в своих усилиях по приобщению «публики» к классической культуре. И здесь исторический роман уже исполняет «просветительские» функции. Причем просвещается не только читатель, но и автор — переписывая латинские фразы, М. Н. Загоскин вряд ли изучил язык. Но освоение латыни отличалось у него той же основательностью, что и освоение поэзии<sup>1</sup>. Писателю «ученые» слова необходимы — значит, они будут, и их узнает и читатель.

Включение «классических» цитат в тексты разных жанров показывает, насколько различны формы освоения античного текста. В жанре фрагмента мы, как правило, наблюдаем стремление воплотить в звуках древнего языка основную идею высказывания, в повестях — отдельные употребления соответствующих лексем играют роль авторских характеристик и т.д. Особый интерес в данном случае представляют произведения авторов, специально занимавшихся классическими языками (так, В. Ф. Одоевский исследовал музыкальность языков, и эти работы тесно связаны с его художественной прозой — а лингвистический их анализ еще не осуществлен). В «классическом» русском романе 60–90-х годов XIX века присутствие цитат на древних языках может показаться незначительным — но это впечатление обманчиво<sup>2</sup>. А в малой прозе конца столетия элемент стилизации (от А. П. Чехова до М. А. Кузмина) становится основным фактором включения классической цитаты в текст. Особое внимание применительно к ситуации конца века следует уделить историко-документальным текстам, а также роли классических языков в формировании имиджа литературных журналов

---

<sup>1</sup> Рассказ о том, как Загоскин учился писать стихи, см. в письмах Н. И. Гнедичу (Загоскин М. Н. Сочинения: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 696 и далее). Ср.: Дмитриев М. А. Воспоминания о М. Н. Загоскине // Загоскин М. Н. Москва и москвичи. М., 1988. С. 552–553).

<sup>2</sup> См.: Покровский М. М. Пушкин и античность // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. [Вып.] 4/5. С. 27–56.

второй половины XIX века (от эпитафий до переводных фрагментов из иностранных изданий).

Но этот историко-лингвистический анализ не исчерпывает всей сложности проблемы. Обращаясь к жанровым текстам, мы можем наиболее четко охарактеризовать функциональную роль древних языков. Например, в историческом романе «из древних времен» отдельные цитаты создают целостный культурный фон. Так, мода на Древний Египет в России появилась с переводами романов Георга Эберса. И в романах и рассказах Д. Л. Мордовцева эта мода становится основой для решения специфических задач писателя, раскрывающего египетские и ближневосточные сюжеты.

Например, цикл рассказов «Говор камней» создавался на протяжении 1880-х годов. Все 14 произведений строятся одинаково: описывая свои наблюдения и впечатления от египетских древностей, автор пытается представить читателям наиболее яркие сюжеты из древней истории. Отталкиваясь от одной фразы в папирусе, Мордовцев предлагает читателям обманчиво простые истории; практически во всех случаях автор рассчитывает на определенную начитанность своей публики. Читателям предлагается соотносить древнеегипетские сюжеты с различными сюжетами древней и новой литературы. Приводя пассажи из Страбона, Геродота, Плиния, писатель не забывает и об отечественной литературе — о Норове и Пушкине, фрагменты из произведений которых призваны подчеркнуть очарование египетской древности. Иную функцию исполняют цитаты и пересказы научных трудов; Мордовцев выбирает те исследования, в которых египетские тексты рассматриваются в качестве литературных памятников, а не исторических документов. Посему предпочтение отдается более «поэтичным» Шампольону, Бругш-бею и «их продолжателю Г. К. Властову». Характеризуется литературный стиль и «документальных», и «художественных» произведений. И если над первыми (молитвами Апису, прославлениями фараонов) Мордовцев иронизирует, то вторые он преподносит читателям с определенным пиететом. Это неудивительно: сам писатель видит в них источники сюжетов и образов новой литературы и призывает читателей поступить так же.

Столь же важны для данной темы и романы «из древней истории» — В. И. Крыжановской-Рочестер, А. И. Красницкого и других авторов.

Совершенно иное использование древних языков наблюдается в мистической и фантастической литературе. Здесь соответствующие фрагменты служат для создания таинственной атмосферы; неаккуратность использования языкового материала компенсируется чрезмерным акцентированием его значительности (здесь показательны и переводы, в первую очередь с французского — романов Ж. де Ла Ира, Ж.-К. Гюисманса и др., и оригинальные тексты — от В. Р. Зотова до В. И. Крыжановской-Рочестер). В уголовных романах использование юридических формул — основной вид интерпретации «классической культуры». В рамках проводимого в настоящее время исследования планируется воспроизвести целостную функциональную классификацию присутствия древних языков в жанровой литературе XIX века.

Проблема освоения всех аспектов национальной и мировой истории в русской литературе может быть формализована и рассмотрена на очень широком материале. В 1830—1840-х и позднее, в 1870—1890-х гг., исторические жанры даже количественно занимают первое место в литературном процессе. Так, в 1831—1839 гг. отдельными изданиями вышло более 300 исторических романов<sup>1</sup>; а в одном только 1884 г., по данным журнала «Книжный вестник», их вышло около 80. Именно литература исторических жанров в наибольшей степени репрезентативна для анализа «среднего» уровня литературного развития того или иного периода, для уяснения тех эстетических и мировоззренческих принципов, которые утверждаются и активно воплощаются в художественной литературе; ведь понимание прошлого тесно связано с формами интерпретации опыта настоящего.

О шаблонности исторической беллетристики XIX в. говорилось много. Применительно к историческому роману

---

<sup>1</sup> Ребеккини Д. Русские исторические романы 30-х гг. XIX в. (библиографический указатель) // Новое литературное обозрение. 1998. № 34.

1830-х гг. был введен даже термин «изолированная структура»<sup>1</sup>. В изоляции исторических жанров виделся своего рода выход; историзм рассматривался вне жанровой системы, вне истории литературы, вне реального литературного процесса. А вместе с тем огромный объем текстов на исторические темы явственно корреспондировал с «большой» литературой. Анализом общих тенденций, очевидных в исторической беллетристике и в «мэйнстриме», отчетливо пренебрегали. И методология, в отдельных случаях работающая и дающая неплохие результаты, не могла сработать, если речь заходила о функциях, исполняемых историческим материалом, о его художественном наполнении и эволюциях форм литературного выражения исторических коллизий. Обращение к маргинальному, казалось бы, языковому материалу позволяет по-новому интерпретировать целостность истории жанра — и здесь материал древних языков существенно дополняет материал «новых» литературных влияний.

В начале XIX века латинский текст (а латинские цитаты, как увидим, оказываются наиболее распространенными — присутствие греческого и древнееврейского в исторических текстах минимально) служит своего рода сопроводительным материалом, классические формулы становятся комментариями к тем или иным поступкам героев (что особенно ярко проявилось в текстах Загоскина и Н. А. Полевого). При этом автор мог, не зная языка, переписывать подходящие по смыслу фразы, не заботясь о грамматической точности — ему важно само по себе наличие параллельного текста.

С другой стороны, появляются и произведения, в которых древние языки — только часть исторического фона, одна из составляющих характеристики героя или эпохи. Таковы классические формулы, воспроизводящиеся в романах Булгарина и Массальского.

---

<sup>1</sup> Сорокин Ю. Исторический жанр в прозе 30-х гг. XIX в. // Доклады и сообщения филологического факультета МГУ. М., 1947. Вып. 2. С. 39.

Например, в романе Булгарина «Димитрий Самозванец» один из героев, иезуит, произносит: «Книги, книги! *Hinc mali principium!*»<sup>1</sup>

Осуждение книг и интеллектуальной свободы — традиционная деталь в изображении иезуитских убеждений. Однако сделанный Булгариным перевод «вот корень зла» — не совсем точен; «жадность есть корень всех зол» (*Radix malorum est cupiditas*) — фраза из 1 Тим. 6: 10. Именно она и стала основой формулы «корень зла», которую Булгарин смешал с другим выражением: *Principium et fons* — начало и источник.

Или более сложный пример из того же романа: «— Пей, Маржерет! Ты знаешь: *in vino veritas...*

— За латынь — латынью, — сказал, улыбаясь, Маржерет:

*Si latet in vino verum, ut proverbia dicunt,*

*Invenit verum Teuto, vel inveniet*

(То есть если справедливо, что истина в вине, как говорит пословица, то немцы верно нашли ее или скоро найдут)» (411–412).

В данном случае весь диалог восходит к тексту Бернгарда Таннера о польско-литовском посольстве в Московию «в вине истина, причем шутливый Овен остроумно говорит: «Истина если в вине, как гласят поговорки, таится, Немец (скорее бы — русский) сумеет всегда истину эту найти». (Оуэн (Owen или Oventus), писавший латинские стихи, р. в 1560 г. в Валлисе, изучал в Оксфорде право, был затем учителем, ум. в Лондоне в 1622 г. Его *Epigrammata*, колкие и остроумные, бичуют людские слабости, особенно злоупотребления в католической церкви. *Meyer's Lexicon*. Вот вся эта эпиграмма: *Germana veritas. Mersum in nescio quo verum latitare profundo / Democritus, nemo quod aperiret, ait: / Si latet in vino verum (ut proverbia dicunt) / Invenit verum Teuto vel inveniet*)»<sup>2</sup>. На русском языке этот текст был впервые опубликован в «Вестнике Европы» (1826. № 21–

---

<sup>1</sup> Булгарин Ф. В. Димитрий Самозванец. М.: Кронос, 1994. С. 222.

<sup>2</sup> Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. М.: Императорское общество истории и древностей Российских, 1891. С. 112–113.

24). И пьянство Маржерета, и его образованность — характеризуются при помощи одной классической формулы.

Особенно ярко этот элемент проявился в «низовом» историческом романе второй половины столетия — несколько латинских фраз, долженствующих показать образованность героя, кочуют из текста в текст. Например, в романе М. Н. Волконского «Две жизни» обнаруживаем следующий фрагмент: «Доктор, пожав плечами, ответил:

— *Ad angusta!*

— *Per angusta!* — подхватили сейчас же слуги и, расступившись с поклоном, дали дорогу.

— *Fiat!*<sup>1</sup> — сказали все присутствовавшие, и председатель три раза стукнул согнутым пальцем о стол».<sup>2</sup>

В данном случае масонская обрядность весьма условно ассоциируется с крылатыми латинскими выражениями, тем самым таинственность придается не только тривиальным действиям, но и тривиальным словам.

Любопытен пример А. К. Толстого, прекрасно знавшего классические языки — и использовавшего свои знания только в эпиграфе исторического романа «Князь Серебряный». Эпиграф таков: «*At nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditum fatigant animum et moestitia restringunt, neque aliam defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerium, quam ne oderim tam segniter pereuntes. Tacitus. Annales. Giber XVI.*»<sup>3</sup> Перевод: А тут рабское терпение и такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает ее печалью, я не стал бы просить у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих. (Тацит. Летопись. Книга 16).

«Анналы», оригинальное название — «От кончины божественного Августа» (лат. *Annales*; лат. *Ab excessu divi Augusti*) — последнее и самое крупное сочинение Публия Корнелия Тацита.

---

<sup>1</sup> Пер.: «К высокому... через трудное!... Да будет так!» (лат).

<sup>2</sup> Волконский М. Н. Две жизни. СПб., 2002. С. 213.

<sup>3</sup> Толстой А. К. Князь Серебряный // Толстой А. К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1964. С. 7.

Произведение описывает события с 14 года н. э. (смерть Октавиана Августа) до 68 года н. э. (конец династии Юлиев-Клавдиев). О правлении последующих императоров повествует «История» того же автора. 16 книга сохранилась не полностью, в ней описаны события с конца 65 до 66 года и, возможно, до самоубийства Нерона. Полностью данный фрагмент в русском переводе выглядит так: «Даже если бы я описывал внешние войны и говорил о павших в них за отечество, подобное однообразие обстоятельств их гибели и во мне самом породило бы пресыщение, и я бы наскучил другим, которых отвратил бы этот мрачный и непрерывный рассказ о смертях римских граждан, с каким бы мужеством и достоинством они их ни встретили; а тут — рабское долготерпение и потоки пролитой внутри страны крови угнетают душу и сковывают ее скорбью. Но у тех, кто ознакомится с этим моим трудом, я прошу снисхождения не за что другое, как только за то, что не питаю ненависти к отдавшим себя с такою покорностью на истребление. То был гнев божеств, обрушенный ими на Римское государство, и пройти мимо него, один раз упомянув, как если бы дело шло о поражении войск или о взятии городов, невозможно. Воздадим же должное памяти этих именитых мужей, и если похороны людей подобного рода принято отличать от всех остальных пышностью и торжественностью обрядов, то пусть они будут почтены и повествованием о постигшей их участи» (пер. А. С. Бобовича). Авторская позиция ясно выражена только в эпиграфе — и это единственный пример использования древнего языка в тексте романа, что указывает на значимость высказывания.

Цитата становится тем камертоном, с которым сверяются все мысли и чувства читателя. Античный текст задает парадигму восприятия исторического сюжета. Подобный подход в высшей степени характерен для прозы Лажечникова и некоторых других авторов. Но к концу века он становится шаблонным, и этот принцип «универсальной оценки» в его примитивном варианте воспроизводится в романах Д. Л. Мордовцева. Автор, используя фразеологический словарь Михельсона, выписывал оттуда подходящие по смыслу латинские фразы (иногда ошибаясь в прочтении и в указании источника текста), чтобы в каждой сцене

обнаруживался классический прообраз и каждое событие новой истории соотносилось с каким-то событием истории древней<sup>1</sup>. Можно вспомнить «ученые» фразы Юрия Крижанича, героя романа «Царь и гетман»:

«Много горького будет между братьями, горькую чашу испити имать народ словенский <...> Только помните: *Concordia parvae, res crescent...*».<sup>2</sup>

Перевод таков: при согласии и незначительные дела вырастают. Полностью: *Concordia parvae res crescunt, discordia maxima dilabuntur* («согласием малые государства укрепляются, от разногласия величайшие распадаются») — латинский афоризм, подчёркивающий необходимость единства и слаженности действий. Впервые употреблён Саллюстием в «Югуртинской войне». По Саллюстию, Миципса, царь Нумидии и союзник римлян, перед смертью решил оставить престол троем своим сыновьям — родным Адгербалу и Гиempсалу и приёмному Югурте, сыну одного из его незаконнорожденных братьев, ранее отличившемуся в Нумантийской войне. В речи, которую Миципса произнёс на смертном одре, он подчеркнул важность дружбы и верности для сохранения государства. Речь Юрия Крижанича включает «ученые» формулы, но основу ее составляют изречения, восходящие к общему славянскому наследию, демонстрирующие единство «древней» и «новой» истории. Сходные примеры в изобилии обнаруживаются и в романах из истории Малороссии, и в книгах, посвященных Отечественной войне 1812 года.

В романах Мережковского более аккуратно и точно воспроизведенные цитаты служат соотносению сюжетов с исходным философским построением. Характерно признание автора «Христа и Антихриста» и «Царства Зверя»: «Трилогия <...> изображает борьбу двух начал во всемирной истории, в прошлом... «Стихотворения» отмечают вехами те побочные пути,

---

<sup>1</sup> См.: Сорочан А. Ю. Квазиисторический роман в русской литературе XIX века. Д. Л. Мордовцев. Тверь, 2007. С. 133–141. См. также: Древние языки в русской исторической прозе XIX века: Материалы к справочнику. Тверь, 2013. С. 112–137.

<sup>2</sup> Мордовцев Д. Л. Царь и гетман: Романы. М.: Современник, 1994. С. 349.



которые привели меня к единому и всеобъединяющему вопросу об отношении двух правд — Божеской и человеческой в явлении богочеловека... Это, разумеется, только внешняя, мертвая схема, геометрический рисунок лабиринта»<sup>1</sup>. В основании авторских построений лежит противопоставление двух начал, вполне объясняющее всемирную историю. В названиях трилогий вполне выражены основные идеи; исторические сюжеты и древние формулы служат им лишь подтверждением. Например, в романе «Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи» в название второй книги романа вынесены слова «ECCE DEUS — ECCE HOMO».<sup>2</sup> *Ecce Homo* — в буквальном значении «вот человек», «это человек» — слова, сказанные Понтием Пилатом об Иисусе Христе (Ин. 19:5). Но эти слова сопрягаются с иными: *Ecce Deus!* — Бог, вот Бог! (в значении поэтического восторга, вдохновения; Вергилий. "Энеида", VII, 46). Таким образом, язычество художника и экстаз верующего становятся единым переживанием. К этой мысли Мережковский возвращается на протяжении всей книги. Чуть ниже читаем: «А на подножии памятника увидел запечатленное в мягкой глине рукой самого Леонардо двустиише:

*Expectant animi molemque futuram,  
Suspiciunt; fluat aes; vox erit: Ecce Deus!*

Его поразили два последние слова *Ecce Deus!* — Се Бог!» (358)

Пер.: «Предчувствуют души грядущее;  
Расплавится медь; и голос будет: се Бог!».

Божественное происхождение художественного таланта подтверждается латинскими формулами, которые становятся основой повествования. Но и в романе из русской истории «Александр Первый» конструкция не меняется:

«Голицын рассказывал Одоевскому о своих парижских беседах с Чаадаевым и под уныло-веселые звуки "Аугустина" шептал ему на ухо те слова молитвы Господней, которым суждено было, как верил Чаадаев, сделаться осанной грядущей свобод-

---

<sup>1</sup> Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений. М., 1914. Т. I. С. VIII.

<sup>2</sup> Пер.: Се Бог — се человек (*лат.*).

ной России: *Adveniat regnum tuum*, — так не по-русски о русской вольности звучали эти слова для самого учителя» (236).

Фраза «Да придет Царствие Твое» (лат.) — не просто фрагмент молитвы «Отче наш»; это эпитафия к первому «Философическому письму» П. Я. Чаадаева — Мережковский, как почти всегда, отталкивается от текстов, сохраняя «книжный» характер своего повествования.

Путь от фраз — «параллелей» к фразам — «камертонам» в историческом романе XIX века не может считаться прямым (в справочнике сохранены указания на даты жизни авторов романов, чтобы можно было яснее представить эту хронологическую последовательность). Да и вообще — как всякая схема, представленное описание предельно условно. Но обращение к материалу древних языков, позволяет откомментировать многие эпизоды, остающиеся до сих пор вне поля зрения исследователей, соотнести тексты «забытые» и «классические», приблизиться к пониманию сложности «античного присутствия» в русской культуре.

*Ю. Н. Варзонин, А.Ю. Сорочан*

## ЛАТЫНЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ Г. СЕНКЕВИЧА

Произведения Генрика Сенкевича, переведенные на русский язык приобретшие огромную популярность в России, представляют обширный и интереснейший материал для исследования использования древних языков (в частности, латыни) в беллетристических текстах.

Одно из центральных мест в творчестве Сенкевича занимает его историческая трилогия, включающая романы «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский». Романы посвящены таким эпохальным для Польши 17 века событиям, как восстание Богдана Хмельницкого, борьба со шведской интервенцией и отражение турецких набегов. Романы объединены общими персонажами: Заглоба, Ян Скшетуский, Михал Володыевский, Анджей Кмициц и др.

В тексте романов очень широко представлены латинские языковые вкрапления. При подсчете нами было обнаружено 578 контекстов, содержащих латинское словоупотребление. Обширному использованию латыни способствовал тот факт, что Сенкевич прекрасно знал латынь и античных авторов. С 1866 г. он учился в варшавской Главной школе (затем переименованной в Императорский университет) на филологическом факультете, где изучение греческих и римских авторов составляло основу обучения. И после завершения образования он сохранил любовь к древним текстам: «У меня была многолетняя привычка перед сном перечитывать древних римских историков. Я делал это не только из любви к истории, которой всегда весьма интересовался; но также из-за латыни, которую я не хотел забывать. Эта привычка позволяла мне без труда читать латинских поэтов и прозаиков и вместе с тем будила все более горячую любовь к древнему миру»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Стахеев Б.Ф. Генрик Сенкевич / Сенкевич Г. Собр. соч. в 9 т. М.: Художественная литература, 1983—1985. Т. 1. С. 32.

Среди многочисленных латинских словоупотреблений тем не менее всего 7 собственно цитат. Четыре из «Энеиды» Вергилия, одна из Тита Ливия, одна из Сенеки и одна из Горация. И только для одной из них, цитаты из «Ab Urbe condita» Ливия, Сенкевич называет имя автора в тексте романа. Эта цитата идет в тексте трилогии первой: «Дикой земле и диким обитателям ее именно такая рука и была нужна, ведь с Украины на Заднепровье тянулся самый беспокойный народ: шли поселенцы, привлекаемые наделом и тучностью земли, беглые крестьяне со всех концов Речи Посполитой, преступники, сбежавшие из узилищ, словом, как сказал бы Ливий: «*Pastorum convenarumque plebs transfuga ex suis populis*». Держать их в узде, превратить в мирных поселенцев и привить вкус к оседлой жизни только и мог такой лев, от рыка которого все трепетало»<sup>1</sup>. Соответствующая цитата из Ливия выглядит так: «*Quid enim futurum fuit, si illa pastorum convenarumque plebs, transfuga ex suis populis, sub tutela inuiolati templi aut libertatem aut certe impunitatem adeptam, soluta region metu agitari coepta esset tribuniciis procellis, et in aliena urbe cum patribus serere certamina, priusquam pignera coniugum ac liberorum caritasque ipsius soli, cui longo tempore adsuescitur, animos eorum consociasset?*»<sup>2</sup>.

«В самом деле, что случилось бы, если бы толпа пастухов и пришлых, разноплеменных перебежчиков, обретших под покровительством неприкосновенного храма свободу или безнаказанность и в чужом городе стала бы враждовать с сенаторами, раньше чем привязанность к женам и детям, любовь к самой земле, требующая долгой привычки, сплотили бы всех общностью устремлений» (перевод Н.А. Поздняковой)<sup>3</sup>.

В первых строках второй книги Ливия (где и расположена приведенная цитата) рассказывается о Луции Юнии Бруте, который сыграл важную роль в изгнании царей из Рима и затем

---

<sup>1</sup> Сенкевич Г. Собр. соч. в 9 т. М.: Художественная литература, 1983—1985. Т. 2. С. 60. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>2</sup> T. Livius Ab urbe condita. II, 1, 4-6 // <http://www.thelatinlibrary.com> 10.09.2014.

<sup>3</sup> Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Наука, 1989. Т. 1. С. 64.

стал одним из двух первых римских консулов. А у Сенкевича говорится о князе Иеремии Вишневецком, которого он считал сильным и жестоким правителем и полководцем, единственным, кто способен противостоять Богдану Хмельницкому. Естественно предположить, что такое «скрытое», предназначенное для тех, «кто поймет», соотнесение двух этих исторических личностей неслучайно. У Тита Ливия роль Юния Брута в становлении Рима безусловно положительна. Он пишет о жестком правлении Брута так: «Государство, еще не повзрослев, расточилось бы раздорами, тогда как спокойная умеренность власти возлелеяла его и возростила так, что оно смогло, уже созрев и окрепши, принести добрый плод свободы»<sup>1</sup>. И далее: «Брут первым с согласия товарища принял знаки власти и не менее горяч был как страж свободы, чем прежде как освободитель»<sup>2</sup>. На наш взгляд, для Сенкевича роль Иеремии Вишневецкого в польской истории вполне соотносима с ролью Юния Брута в римской. Характеристика идеального правителя (то есть князя Иеремии) по содержанию напоминает приведенную цитату из Тита Ливия. У Сенкевича: «подобная суровость только и давала возможность житью и усердию человеческому укореняться и пускать побеги, только благодаря ей возникали города и села, хлебопашец одерживал верх над грабителем, купец безмятежно вел свою торговлю, колокола мирно созывали верующих на молитву, враг не смел нарушить рубежа, разбойные шайки или гибли на колах, или преобразались в регулярных солдат, а пустынный край процветал» (Т. 2, С. 59). По поводу кажущегося несовпадения определений «спокойная умеренность» у Тита Ливия и «лев, от рыка которого все трепетало» у Сенкевича можно сказать, что латинское слово «moderatio», часто переводимое как «размеренность, умеренность», имеет первыми значениями «ограничивание, держание в рамках, обуздывание»<sup>3</sup>. Кроме этого известно, что Юний Брут казнил собственных сыновей за попытку восстановления царской власти Тарквиниев. Поэтому вряд ли мож-

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1976. С. 642.

но говорить, что «умеренность» римляне понимали так же, как читатели Сенкевича.

С точки зрения функциональной нагрузки данной цитаты можно добавить, что цитирование и упоминание имени самого известного римского историка создает эффект исторической важности, глобальности и судьбоносности описываемых событий.

Следует сказать, что сравнение персонажей с реальными личностями, мифологическими или литературными персонажами античности — прием, неоднократно используемый в текстах Сенкевича. К примеру, пан Заглоба сравнивается с Улиссом: «— Опытность, смиренно отвечал пан Заглоба, — особенно в нашем военном ремесле, с годами приходит..., но прозвище Улисс для меня это слишком лестно, и я от него смиренно отрекаюсь. — И все же оно так к вам пристало, что иной оратор и подлинного имени не назовет, намекнет только — «наш Улисс», и довольно, все знают, о ком речь» (Т. 5. С. 113). Или сравнение того же Заглобы с Цицероном: «— Она? Да будь я Цицероном, и то бы я не мог достойно описать ее преклонение перед вашей светлостью в первое время. Я так думаю, что ее добродетели и прирожденная как бы несмелость создали преграду в выражении чувств. Но когда она узнает об искренних вашей светлости намерениях, тогда, я уверен, девка даст сердцу волю, оно же не замедлит кинуться на луга любви с большой охотой.

— И Цицерон бы не сказал искусней! — ответил Богуслав» (Т. 4. С. 423). Гектором называет автор Володыевского: «Так погиб Володыевский, Гектор каменецкий, первый солдат Речи Посполитой» (Т. 5. С. 441). В каждом случае имена античных персонажей одновременно олицетворяют какие-либо качества (кстати, только положительные): Улисс — хитрость и опытность, Цицерон — красноречие, Гектор — воинскую доблесть и актуализируют знания читателя об античном мире героев и великих людей.

Еще одной цитатой, крайне важной в структуре трилогии, является цитата из Горация в романе «Потоп». Контекст, где появляется эта цитата следующий: Кмициц (под именем пана Бабинича) при дворе Яна Казимира рассказывает, что костел

Ченстохова устоял при осаде, огромная шведская пушка взорвана, шведы отступают и наступил перелом в войне. После того, как все узнали, что именно Кмициц совершил вылазку, взорвал пушку и чудом уцелел, ксендз Выждга, «златоуст», как его называют в романе, который по любому поводу цитирует древних авторов, произносит: «— Он может сказать о себе: «*Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae!*» (Т 4. с. 59). Это цитата из «*Carmina*», книга III, 3 — 7–8.

Iustum et tenacem propositi virum  
non civium ardor prava iubentium,  
non voltus instantis tyranni  
mente quatit solida neque Auster,

dux inquieti turbidus Hadriae,  
nec fulminantis magna manus Iovis:  
si fractus inlabatur orbis,  
impavidum ferient ruinae<sup>1</sup>.

Кто прав и к цели твердо идет, того  
Ни гнев народа, правду забывшего,  
Ни взор грозящего тирана  
Век не откинут с пути, ни ветер

Властитель грозный бурного Адрия,  
Ни Громовержец дланью могучей, — нет:  
Пускай весь мир, распавшись, рухнет —  
Чуждого страха сразят обломки.  
(Перевод Н. Гинцбургга)<sup>2</sup>.

Эта ода, обращенная к Августу, посвящена героизму и награде за него:

---

<sup>1</sup> Q. Horatius Flaccus *Carmina*, III – 3, 7–8 // <http://www.thelatinlibrary.com> 10.09.2014.

<sup>2</sup> Квинт Гораций Флакк Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М.: Художественная литература, 1970. С. 131.

И Геркулес и Поллукс таким путем  
Достигли оба звездных твердынь небес:  
Меж них возлегши, будет Август  
Нектар пурпурными пить устами.

Для Кмицица также было важно своим подвигом заслужить награду: получить прощение за свою измену Яну Казимиру и своим товарищам.

После выступления Кмицица, принесшего добрую весть об отступлении шведов, королева говорит о необходимости продолжать борьбу, о том, что Ян Казимир должен возглавить войско и вернуть себе трон. Ее речь потрясает присутствующих: «С этими словами королева опустилась в кресло; очи ее сверкали, грудь волновалась, и все с благоговением взирали на нее, а канцлер Выджга стал читать громовым голосом:

*Nulla sors longa est, dolor et voluptas  
Invicem cedunt.  
Ima permutat brevis hora summis»* (Т. 4. С. 67)

Эта цитата не отмечена в комментариях. Она принадлежит Сенеке.

Краток срок всему: и беда и счастье  
Чередой идут, но короче счастье.  
На вершины час из глубин возносит  
(Перевод С.А. Ошерова)<sup>1</sup>.

Все остальные цитаты, появляющиеся в трилогии, из Энеиды Вергилия: « — Рассказывай же, ваша милость, далее! — просили они Заглобу. — Перешли, значит, вы Днепр, и что же? Каким образом вы до Бара-то добрались? Пан Заглоба опрокинул квартиру меду и сказал:

*Sed jam nox humida coela  
Praecipitat, suadentque cadentia sidera somnos,*

---

<sup>1</sup> Флест//Сенека. Трагедии. — М.: Наука, 1983. С. 219.



Sed si tantus amor casus cognoscere nostras  
Incipiam» (Т. 2.С. 299)

В романе пропущены 2 строки:

et breviter Troiae supremum audire laborem,  
quamquam animus meminisse horret luctuque refugit<sup>1</sup>,

Мог бы слезы сдержать? Росистая ночь покидает  
Небо, и звезды ко сну зовут, склоняясь к закату,

Но если жажда сильна узнать о наших невзгодах,  
Краткий услышать рассказ о страданиях Трои последних,  
Хоть и страшится душа и бежит той памяти горькой,  
Я начну  
(Перев. С. А. Ошерова)<sup>2</sup>.

Не попадись я в плен, мы бы с паном Михалом так легко их  
не одолели; я говорю «мы», ибо в заварухе сей magna pars fui —  
до смерти повторять не устану. (Т. 2. С. 403).

Infandum, regina, iubes renovare dolorem,  
Troianas ut opes et lamentabile regnum  
eruerint Danaï, quaeque ipse miserrima vidi  
et quorum pars magna fui. quis talia fando  
Mymidonum Dolopumve aut duri miles  
Ulixi temperet a lacrimis?<sup>3</sup>.

Смолкли все, со вниманьем к нему лицом обратившись.  
Начал родитель Эней, приподнявшись на ложе высококом:  
"Боль несказанную вновь испытать велишь мне, царица!  
Видел воочию я, как мощь Троянской державы —

Кроме цитат из исторических и литературных памятников  
античности используются многочисленные (было обнаружено

---

<sup>1</sup> Publius Vergilius Naso Aeneid, II, 8 — 10, 13. www.thelatinlibrary.com

<sup>2</sup> Вергилий. Собр. соч.— Спб, Изд-во «Студия биографика», 1994. С. 78.

<sup>3</sup> Publius Vergilius Naso цит. соч. II, 2–7.

45 контекстов) отрывки из христианских молитв и Библии. Характерны такие примеры: «Истинная вера в упадке, ибо возвышаются лютеране. Люди! Неужели вы не видите, что приближается *dies irae, dies illa* («день гнева, сей день» — в католическом богослужении песнопение проприя мессы (секвенция); написана в XIII веке францисканским монахом Фомой Челанским. В ней описывается Судный день. (Т. 4. С. 434); «Ксендз воздел руки к небу, и в зале воцарилась тишина. — *Benedico vos, in nomine Patris et Filii, et Spiriti sancti.* («Благословляю вас во имя Отца и Сына, и Духа святого») (Т. 2. С. 646). Что один слабый враг, над которым каши предки одержали столько славных побед, теперь *sicut fulgur exit ab occidente et paret usque ad orientem [ita erit et adventus Filii hominis]*. Никто не дал ему отпора, изменники еретики помогли ему, и он все захватил, веру преследует, костелы оскверняет, а когда вы толкуете ему о ваших вольностях, он показывает меч! («ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Матф. 24, 27) (Т. 3. С. 71).

Основными функциями использования подобных цитат являются, с одной стороны, указание на религиозную общность персонажей: « — *Salve, Regina!* — кричала шляхта. — *Monstra Te esse matrem!* — зывали крестьяне. («Славься, Царица! Яви, что Ты мать наша») (Т. 3. С. 450); «Король начал читать «*Ave Maria*», прочие усердно повторяли за ним слова молитвы» («Богородице, деве, радуйся») (Т. 3. С. 83); «Все умолкли и опустились на колени, словно бы в ожидании чуда. Однако ксендз чуда не сотворил, а не убирая рук своих с головы Скшетуского, вознес очи к небесам, залитым лунным светом, и стал громко читать:

— *Pater noster, qui es in coelis! Sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua...* Тут он умолк и спустя мгновение повторил громче и торжественней:

— *Fiat voluntas Tua!*.. Воцарилась глубокая тишина.

— *Fiat voluntas Tua!*.. — повторил ксендз в третий раз.

И тогда с уст Скшетуского изошел голос небывалой боли и смирения:

— *Sicut in coeli et in terra!* И рыцарь, зарывав, пал на землю. («Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое! Да при-

идет царствие Твое! Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли!») (Т. 2. С. 166).

С другой стороны, наоборот, реализация оппозиции «свой-чужой» по отношению к другим культурам: «— Иисусе Христе, зачем же ты столько этой сволочи создал! Уж не сам ли это Хмельницкий с чернью и всеми вшами?! Ну не безобразие ли, скажи, ваша милость? Они же нас шапками закидают. А как славно было прежде на Украине! Прут и прут! Чтоб на них бесы в пекле перли! И все на нашу голову! Чтоб они от сапа сдохли!..

— Не бранись, ваша милость. Воскресенье ведь нынче.

— И верно — воскресенье, лучше бы оно о боге подумать. Pater noster qui est in coelis. Никакого уважения от этих негодяев ожидать нельзя. Sanctificetur nomen Tuum. Что же твориться будет сегодня на этой дамбе! Adveniat regnum Tuum. Вот уже во мне и сперло дыхание. Fiat voluntas Tua. А, чтоб вы издохли, Аманы мужеистребляющие!» (Т. 2. С. 304–305); «Началось благодарственное богослужение — и на том самом плацу, где вчера еще муэдзины выкрикивали «Ляха иль аллах!», зазвучала молитва «Te Deum laudamus» («Тебя, Господи, хвалим») (Т. 5. 458).

Нужно сказать, что в тексте трилогии латынь разграничивает общественно-культурные ценности не только в области религии. Положение Речи Посполитой на окраине западного мира актуализирует вербальное выражение принадлежности к нему, так как служит одним из маркеров категории "свой-чужой". В ситуации, когда пана Заглобу могли спутать в битве с соратником Хмельницкого, он кричал «Loquor latine!» — «Я говорю по-латыни!», словно это пароль, по которому его пропустят к своим. И действительно, знание латыни как бы автоматически относит человека к западному миру: «Дед, однако, шарахнул одного из солдат лирою по голове, так что тот сразу опрокинулся, другого схватил за руку, чтобы помешать сабельному удару, причем ревел он от страха, точно буйвол. Несколько человек, завидя такое, бросились изрубить его, но сюда же явился и пан Скшетуский.

— Живьем брать! Живьем брать! — крикнул он.

— Стой! — ревел дед. — Я шляхтич! Loquor latine! Я не дед! Стой, кому говорят! Сволота, кобыльи дети!

Но он не успел закончить своей литании, потому что пан Скшетуский глянул ему в лицо и закричал так, что склоны яра отозвались эхом:

— Заглоба! (Т. 2. С. 286).

Богдан Хмельницкий, используя знание латыни, обманывает шляхтичей, к которым попал в плен:

«— Однако прости мне, ваша милость, что я надлежащей не выразил благодарности за *auxilium* и успешное спасение, какие меня от столь неожиданной смерти упасли (помощь);

— Странно, и весьма, что его милость гетман так распорядился, ведь в степи-то ты и попал в столь неприятную передрагу; едучи же водою, наверняка избежал бы ее.

— Степи, сударь мой, теперь спокойные, я их знаю хорошо, а приключившееся — это злоба человеческая и *invidia*. (ненависть)

Скшетусский решает, что перед ним полковник другой хоругви, так как «умелый разговор обнаруживал живость ума и знание светского обхождения» (Т. 2. С. 6–8).

Характерно использование слова «*barbarus*» — «варвар» для обозначения недостойного поведения: «— Бога ради! Успокойтесь, умоляю. Я же не *barbarus* какой. Это мне следует просить прощенья за то, что веселье вам испортил. И мы, солдаты, страх как всякие развлеченья любим. *Mea culpa*» (Т. 5. С. 60); «И невольню Кшися казалась ему теперь бедным, обиженным созданием. С каждым мгновением он упрекал себя все больше.

— Экий я *barbarus*, однако, экий *barbarus*, — повторял он» (Т. 5. С. 73).

В приведенных выше примерах не используются какие-либо цитаты, а просто употребляются латинские слова и выражения. В лингвистике для обозначения этого явления используется термин «иноязычные вкрапления». Л.П. Крысин определяет их как слова и словосочетания, которые не входят в структуру принимающего языка и «имеют интернациональный характер и могут быть употреблены в текстах любого культурного языка». Эти слова представляют собой «межъязыковой словесно-фразеологический фонд» и могут употребляться как в разных стилях книжной речи, так и в разговорной речи. Существует и другая разновидность иноязычных вкраплений. Это иноязычные

элементы, которые не могут быть названы устойчивыми или интернациональными. Очень часто они используются в связи с художественно-стилистическими задачами, а также для отражения индивидуального словоупотребления<sup>1</sup>. Именно вторая разновидность вкраплений и представлена в тексте трилогии Сенкевича.

Именно иноязычные вкрапления составляют абсолютное большинство латинского словоупотребления в романах. Тематически их можно разделить на несколько групп. Во-первых, это терминология, преимущественно юридическая и военная: *haeres* — «наследник», *absolutum dominium* — «абсолютная власть», *veto* — «запрещаю», *suffragia* — «избирательные голоса», *infames* — «лишенные чести», *bonus publicus* — «общественное благо», *ab omnes prerogativas* — «всеми правами», *senator* — «сенатор», *primo voto* — «первым браком», *congressus* — «съезд», *larum* и др. Во-вторых, лексика, организующая коммуникативно-прагматическую структуру текста: *repeto* — «повторяю», *incipiam* — «начинаю», *primo* — «во-первых», *secundo* — «во-вторых», *stricte* — «точно, строго», *alias* — «иначе», *ergo* — «следовательно», *ab ovo* — «от яйца, с начала», *directe* — «прямо», *certus quantum* — «несомненно». Лексика, обозначающая ментальные и эмоциональные состояния: *spero* — «надеюсь», *intelligo* — «понимаю», *nescio* — «не знаю», *confiteor* — «признаюсь», *assentior* — «соглашаюсь», *odium* — «гнев», *mirabilia* — «удивление», *cognoscere* — «узнавать», *gaudium* — «радость» и др. Общеупотребительная лексика: *instrumentum* — «орудие», *oribus* — «уста́ми», *error* — «ошибка», *fructus* — «плод», *amicitia* — «дружба», *musca* — «муха», *decus* — «украшение», *lupus* — «волк», *locus* — «место, постой» и многое другое.

Широко представлены латинские поговорки и устойчивые выражения: *consuetudo est altera natura* — «привычка — вторая натура», *periculum in mora* — «опасность в промедлении», *lupus insatiabilis* — «волк ненасытный», *nec nuntius cladis* — «не осталось даже гонца (чтобы сообщить о поражении)», *concordia res*

---

<sup>1</sup> Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. М.: Наука, 1968. С. 47–49.

*parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur* — «в согласии малые дела растут, в раздоре большие погибают», *extrema necessitas extremis nititur rationibus* — «крайние обстоятельства требуют крайних мер», *horribile dictum et auditu* — «страшно сказать и услышать», *volens nolens* — «волей-неволей», *audaces fortuna juvat* — «смелым судьба помогает», *majestas infracta malis* — «величие побеждает зло» и др.

Функции латинских словоупотреблений очень разнообразны. При этом использование латинской терминологии вполне отражает языковую ситуацию в Европе XVII века, так как в это время латынь еще оставалась межнациональным языком юриспруденции, политики, отчасти науки, богословия.

Вкрапления из латинского языка очень органично вплетены в речь персонажей: «Гей, Ягуся! Гей, Кундуся! Ну-ка дайте кубки! *Non timare*, не пугайтесь, подставляйте губки!» (не бойтесь) (Т. 2. С. 168); «Как бы подвоха *in hoc silentio* не скрывалось» (в этом молчании) (Т.2. С. 596); «— Ох, молодость... Кровь не водица! Мне и то часом приходится себя окорачивать, *leo* еще живет во мне, *qui querit quem devoret*» (лев, который ищет, кого сожрать) (Т. 5. С. 260).

Сенкевич использует латынь для создания комического эффекта: «— Благодарю за науку и позволю себе еще не раз за советом к вашей милости обратиться, ибо, вижу, передо мною ученый муж, премного в житейских делах искушенный, я же всего лишь начальную школу окончил и едва могу согласовать *adjectivum cum substantivo* (прилагательное с существительным), а если б, не приведи господь, вздумал тебя, сударь, глупцом называть, то одно лишь знаю: «*stultus*» («глупый») бы сказал, а не «*stulta*» («глупая») или «*stultum*» («глупое») (Т. 5. С. 429); или «Толпы шляхты провожали его из стана градом насмешек, а предводительствовал ими Острожка, который издали кричал вслед уезжавшему магнату:

— Вельможный пан, дарю тебе к фамилии прозвание *deest!* (отсутствует, дезертир)

— Виват Деест-Грудзинстшй! — орала шляхта» (Т. 3. С.120).

Широко используется латынь для демонстрации эмоционального единения людей: «Тишина кругом, и князь явственно слышит голос войск и народа:

— *Vivat defensor patriae! Vivat defensor patriae!* (Да здравствует защитник отечества!)» (Т. 3. С. 195); «Продолжать далее князь не смог: едва он упомянул подчасшего, поднялся страшный крик, забряцали сабли, толпа забурлила и взорвалась, как порох, когда на него попадает искра.

— *Долой! Погибель ему! Pereat!* — раздавалось со всех сторон.

— *Pereat! Pereat!* — гремело под сводами» (Да сгинет!) (Т. 2. С. 416). Подобных контекстов в тексте трилогии 35.

Перечисленные выше функции цитат и языковых вкраплений являются для Сенкевича, на наш взгляд, важными, но не первостепенными. Обращение к латинскому языку для него это прежде всего апелляция не к конкретному автору, произведению или сюжету, а обращение к целому культурному и общественно-политическому пласту античного мира. Сенкевич как бы возрождает ценности древности в пространстве Речи Посполитой 17 века. Римлянин только «в стенах города может не бояться врагов, в городе он член гражданского коллектива, жизнь которого регулируется законами; он защищен от произвола, входя в гражданскую правовую структуру, идея которой неотделима от идеи справедливости»<sup>1</sup>. Под «городом» у Сенкевича подразумевается все пространство христианской Европы. В античности было принято делить мир на цивилизованную часть и варварскую. Для римлянина его гражданская община была тем местом, где он ощущал себя человеком. Он был объединен здесь с согражданами на основе права, был скрыт стенами от врагов, был под покровительством своих богов, только там воплощались ценности, без которых его жизнь не имела смысла: *libertas* — самостоятельность личности и ее свобода отстаивать свои интересы в рамках закона, *iustitia* — совокупность правовых установлений, ограждающих достоинство человека в соответствии с

---

<sup>1</sup> Кнабе Г.С. Рим и античный тип культуры // Кнабе Г.С. Избранные труды. Теория и история культуры. М.; СПб: Летний сад; М.: РОССПЭН, 2006. С. 215.

его общественным положением, *fides* — верность долгу, *pietas* благоговейный долг перед богами, родиной и согражданами, требующий всегда отдать предпочтение их интересам, а не своим, *virtus* — гражданские доблести. Всеми этими качествами «идеального гражданина» Г. Сенкевич наделяет своих главных героев — Кмицица, Заглобу, Володыевского, Скшетуского. Из общего количества латинских словоупотреблений в трилогии на их долю приходится 240 единиц. Соответственно использование латыни в их речи направлено на то, чтобы указать на их приверженность античным идеалам и ценностям, на то, что, с точки зрения Сенкевича, они являются воплощением римского гражданина в описываемой современности.

Известно, что не существовало «римской» национальности: население Рима складывалось из людей самых разных народов, и латынь становилась для них объединяющим центром, позволяющим отойти от «варварства» и прийти к «цивилизации». То же происходит и в романах Сенкевича: на латыни говорят поляки, шведы, немцы, французы, литовцы (что, впрочем, отражает реальную языковую ситуацию в Европе того времени). Всех их объединяет латынь, так как сигнализирует о принадлежности к западному миру и его ценностям. Однако следует оговориться, что для Сенкевича не менее важным оказывается еще один уровень ценностных ориентаций — религиозный, поэтому истинными наследниками Рима у него становятся только католики, а протестанты шведы и православные украинцы оказываются врагами.

Можно говорить о том, что использование латинских цитат, устойчивых выражений, языковых вкраплений в большой мере позволило Сенкевичу выразить идею, о которой позже Г.С. Кнабе сказал: «Неповторимая специфика европейской культуры состоит не только в христианстве, но и в постоянном переживании античного наследия, в их сочетании»<sup>1</sup>

*Е. П. Максимова*

---

<sup>1</sup> Кнабе Г.С. Русская античность // Кнабе Г.С. Избранные труды. Теория и история культуры. М.: СПб.: Летний сад; М.: РОССПЭН, 2006. С. 684.



## ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЦ: ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

Русские травелоги неоднократно становились предметом научной рефлексии: достаточно вспомнить недавнюю монографию Д. Оффорда<sup>1</sup> или исследование А. Эткинда.<sup>2</sup> И практически во всех случаях уделяется внимание соотношению языковых сред в литературе путешествий — чужое и свое в языковом пространстве маркирует положение путешественника в пространстве реальном. Этот интересный процесс, связанный с репрезентацией границ в травелогах, напрямую связан с предметом настоящего раздела.

Может сложиться впечатление, что обсуждение элементов классической культуры в путевых текстах вынужденно окажется функциональным: путешественник обращается к материалу, который связан с внешними впечатлениями; в Италии — он пишет о латинской древности, в Греции — об античном прошлом и т.д. Но это совсем не так — многие путешествия, в описаниях которых древние языки занимают значительное место, совершались отнюдь не в те регионы, которые связаны с соответствующей культурой. Более того, определить функциональные роли классических языков в травелогах не так легко — примеры, с которыми предстоит иметь дело, весьма разнородны. Вероятно, уже в начале столетия мы обнаруживаем первые попытки использовать латинские и греческие тексты для создания эмоционального эффекта. В «сентиментальных путешествиях» иноязычный «древний» текст служит напоминанием о бренности всего земного, о преходящем характере человеческих усилий в этом мире, об изменчивости внешних условий. В классическом крым-

---

<sup>1</sup> Offord D. *Journeys to graveyard*/ Dordrecht: Springer, 2005. XXVI, 287 p. (International Archives of the History of Ideas. 192). См. также рецензию автора настоящей статьи: Новое литературное обозрение. № 97 (3'2009). С. 387–391.

<sup>2</sup> Эткинд А. М. *Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах*. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

ском путешествии Сумарокова таково, например, описание фео-досийской крепости: «...надписи, из коих одна над воротами изображалась на мраморной доске золотыми словами. Сих надписей, в рассуждении высоты иных и заглаженных литер дру-гих, разобрать неудобно; одна же из них, бывшая на каком-то строении, есть следующего содержания:

*Tempore magnifici Domimi Batiste.  
Iustiniani Consuli MCCCCLXXIII.*

То есть во времена великого господина Баптиста Юстиниана Консула 1474. Сооружение крепости означает прежнюю вели-кость сего города...»<sup>1</sup> В самом тексте, как и во многих других, ему подобных нет ничего особенного; но напоминание о вели-чии в сочетании со зрелищем упадка и разрушения непременно наводит повествователя на мысли о «былом» и «нынешнем». Текст развернут во времени, прошлое обращено к настоящему, и это столкновение порождает эмоциональный отклик.

Другой распространенный прием, связанный с использовани-ем классических языков, связан с эпитафами — исходная цита-та задает восприятие текста, выступает эмоциональной доми-нантой всего путешествия. Например, эпитаф к книге М. Нев-зорова «Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 году» взят из Овидия:

*Da veniam scriptis, quorum non Gloria nobis  
Canfa, sed ntili tas ... fuit  
Ovidius ex ponto III. 9<sup>2</sup>*

Конечно, появление эпитафа — воплощение авторской ус-тановки; благосклонное отношение читателя — залог успеха для сентиментального путешествия. Но цитата из Овидия задает и

---

<sup>1</sup> Сумароков П. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году // Ландшафт моих воображений. М.: Современник, 1900. С. 316.

<sup>2</sup> Милостив будь же к стихам, не желаньем славы рожденным: Их породили на свет польза и дружеский долг. Овидий. Письма с Понта. Кн. 3, 9. (Пер. 3. Мор-озкиной) Ландшафт моих воображений... С. 440.

две основные модели построения путевых заметок Невзорова — полезные сведения сочетаются с моральными максимами, высказать которые автора вынуждает долг.

Третья распространенная в сентиментальном путешествии схема — использование классических цитат для того, чтобы подчеркнуть значимость мыслей повествователя. Особенно частотны подобные примеры в текстах, очевидно, содержащих уже стертые, трафаретные суждения. Так, у П.И. Шаликова читаем: «...но человеку необыкновенному все удается! Гений не видит препятствий, и для гения не существуют они. “*Nil mortalibus absurdum est*”! — твердилось в мыслях моих беспрестанно».<sup>1</sup> Примечание автора предлагает поэтическую форму древней сентенции: «Гораций известный стих нет для смертных невозможного». Цитата из III оды первой книги Горация предложена как основа для медитаций — не только над деяниями древних, но и над подвигами самого автора, совершающего скромную поездку в Кронштадт. Поверяя свои и чужие действия античным камертоном, автор вновь находит то настроение, которое позволит достичь максимального эмоционального отклика у читателей.

Если обратиться к пушкинскому «Путешествию в Арзрум», мы обнаружим сходные принципы встраивания латинских цитат в текст: «Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменялись! как быстро уходит время!

*Heu! fugaces, Posthume, Posthume,  
Labuntur anni...»<sup>2</sup>*

Слова «Увы, о Постум, Постум, быстротечные мчатся годы...» взяты из 14-й оды второй книги од Горация. В данном

---

<sup>1</sup> Шаликов П. И. Путешествие в Кронштадт 1805 года // Ландшафт моих воображений. С. 578.

<sup>2</sup> Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. Т. 5. С. 442.

случае они — лишь поэтическое дополнение к размышлениям путешественника. Обратим внимание на движение авторской мысли — от частного (конкретный человек) к общему суждению о ходе времени — и затем к сочетанию частного (имени) и общего (суждения) в классическом тексте. Такой синтез в латинских формулах характерен не только для путешествий, но именно в травелогах он весьма показателен — конкретные впечатления получают обобщенное выражение.

Как ни странно, в том же фрагменте «Путешествия в Арзрум» прием повторяется: «Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

...nec Armeniis in oris,  
Amice Valgi, stat glacies iners  
Menses per omnes...»<sup>1</sup>

Вновь латинская цитата развивает и подтверждает наблюдения путешественника, придавая им более общий характер. Слова «...и армянская земля, друг Вальгий, не круглый год покрыта неподвижным льдом...» вновь заимствованы у Горация, из той же книги од (только из оды 9-й). При этом не следует забывать: «Первое, что привлекает внимание при взгляде на образы стихов Горация, — это их удивительная вещественность, конкретность, наглядность».<sup>2</sup> И в травелогге поэтический образ оказывается столь же конкретным, как и прозаический, текст Горация дополняет пушкинский, встраивается в него — и языковой барьер как будто исчезает. Тот же пейзаж, тот же климат, те же страны, что и много веков назад, окружают путешественника. Откуда же взяться новым впечатлениям? Гораздо проще в таких случаях поверить классикой собственные наблюдения.

Впрочем, в том же тексте Пушкина мы находим прием несколько иного рода, пример, свойственный скорее французской

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Гаспаров М. Л. Поэзия Горация // Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970. С. 17.

традиции травелога: «Я увидел высокого, довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. *Erat vir, mammosus ut femina, habebat t. non evolutos, p. que parvum et puerilem. Quaerebamus, sit ne exsectus? — Deus, respondit, castravit me.* Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. *Хосс* есть турецкое название сим мнимым гермафродитам».<sup>1</sup> В путевых заметках Дюма также «неприличные» фрагменты неоднократно приводятся на классическом языке — они становятся непонятны «невеждам» и в то же время «низкая» тема, изложенная «высоким» языком, как бы утрачивает часть своей непристойности. Это особенно важно в путевом тексте, где необходимо четко зафиксировать реакцию повествователя на чужое и чуждое; это не шокирует, скорее — вызывает научный интерес и любопытство. Следует заметить, что в дальнейшем подобная стратегия в русской литературе не закрепились; отчасти это можно связать с ослаблением влияния французского травелога и заимствованием более привычных для немецкой (позднее английской) литературы принципов построения путевого текста. Однако подобные утверждения требуют верификации. Сейчас же ограничимся утверждением, что пушкинское использование классических языков кажется и экономным, и гармоничным; тем интереснее дальнейшее изменение общей схемы использования «древнего» материала.

Конечно, использование эпитафий в путевых текстах остается частым явлением. Но, как правило, содержание эпитафии относится к конкретному месту, о котором идет речь в произведении. Так, «Римским письмам» А. Н. Муравьева предпослана цитата из Энея Сильвия (Энея Сильвио Бартоломео Пикколомини, более известный как папа Пий II)

*Oblectat me, Roma, tuas spectare ruinas.*

Полный текст этой эпитафии можно перевести так:

---

<sup>1</sup> Это был мужчина с женской грудью, зачаточными половыми железами и органом маленьким и детским. Мы спросили его, не был ли он оскроплен. — Бог, отвечал он, кастрировал меня (*лат.*).

Радостно мне, Рим, взирать на руины твои:  
От паденья твоего слава древняя веет.  
Но здесь народ твой из стен древнейших  
Пятами покорно сплавляет закопанный прочный мрамор.  
И если сей род нечестивый так вынесет три сотни лет,  
Не останется здесь никаких следов благородства.<sup>1</sup>

Однако автор воспользовался лишь первой строкой, выражающей преобладающую эмоцию; идея столкновения древнего благородства и новейшего падения в тексте также присутствует, но отражение ее в эпитафии придало бы всему травелогу тенденциозный характер, а этого Муравьев, автор многих популярных путешествий к православным святыням, постарался избежать.

В популярных путешествиях первой половины XIX столетия «классические» формулы часто переосмыслены. Воспроизведение известной фразы сопровождается снижающим ее комментарием, ставящим под сомнение древнюю мудрость и демонстрирующем интеллектуальное превосходство путешественника. Таких примеров достаточно в книге А.Г. Глаголева «Записки русского путешественника»: «Между прочим он ввел в богослужение язык немецкий вместо латинского, которого австрийцы не понимали. Памятником пребывания Пия VI остался в Вене балкон, с которого он дал благословение городу и миру (*urbi et orbi*); само собой разумеется, что из числа народов, населяющих мир, исключались здесь протестанты. Истина горькая, но справедливая...».<sup>2</sup> Создается впечатление уникальности данного благословения, между тем папы провозглашали эту формулу и при интронизации, и в Рождество, и в Успение, и даже при

---

<sup>1</sup> *Oblectat me, Roma, tuas spectare ruinas:  
Ex cujus lapsu gloria prisca patet.  
Sed tuus hic populus muris defossa vetustis  
Calcis in obsequium marmora dura coquit.  
Impia tercentum si sic gens egerit annos  
Nullum hinc indicium nobilitatis erit.*

<sup>2</sup> Глаголев А. Г. Записки русского путешественника. СПб., 1837. Т. 1. С. 195.

освящении некоторых памятников. И всякий раз «горечь» истины ускользала от зрителей — но она якобы очевидна стороннему наблюдателю. Точно так же нет для него секретов и в истолковании латинских надписей: «Над входом в пирамиду начертана золотыми буквами латинская надпись: *Uxorі Optimae Albertus*; примерной супруге Альберт. Не нужно спрашивать, кто эта супруга; на барельефах, украшающих верхнюю часть пирамиды, вы видите Блаженство, несущее образ Марии Христины с ее именем».<sup>1</sup>

Автор путешествия перестраивает по своему вкусу и «классические» первоисточники Грубый латинский текст трансформируется в привычное читателю правописание при воспроизведении постановления Сената: «Подлинный почерк этого постановления грубее, нежели прочих латинских надписей времен империи».<sup>2</sup>

Непрерывное описание «кабинетов древностей» во всех городах придает использованию классических формул особый смысл; путешествие становится историческим, и рассказ неминуемо связан с воспроизведением текстов на классических языках: «В одном из приделов сей же церкви находится голова Спасителя в терновом венце, писанная отцом немецкой школы Альбертом Дюрером в 1515 году, с следующими латинскими стихами:

*Neu natus in Lacrimis proprioque in sanguine Christus!*

*Neu mihi qui sicers aspicio haec oculus!*

Увы мне! Христос плавает в слезах и в собственной крови, а я смотрю на Него неомоченными глазами!»<sup>3</sup>

Иногда этот архаический элемент приводит к настоящим курьезам, когда путешественник перечисляет латинские названия и фразы, не пытаясь как-то осмыслить увиденное, просто демонстрируя читателям свою ученость: «Между другими редкостями растительного царства, я видел там многие растения из южной Африки и с западного берега Новой Голландии, напри-

---

<sup>1</sup> Там же. С. 214.

<sup>2</sup> Там же. С. 285.

<sup>3</sup> Там же. Т. 2. С. 20–21.

мер: *Asplenium Nidus*— птичье гнездо: (это растение походить на корзинку и листья его так плотно иногда растут, что в середине корзинки может держаться вода); *Testudinaria Elephantopus*—слоновая нога, мужской и женский пень; *Stanhopia*—растение, названное по имени Графа Стэнхоупа; (я видел на одной из них прекрасный цветок); *Oncidium papilio* — цветок, напоминающий фигуру бабочки; *Nepenthes distillatoria* — Батавское растение с кувшинами, наполненными водой». <sup>1</sup> В книгах, рассчитанных на читателя-подростка, подобные фрагменты казались более уместными: «Местами видны были клоки долин в ущельях; на них возделывался ямс и *cactus oruntia* и *coccinillifer*; местами дикая *euphorbia canariensis* распространяла свои рожкообразные ветви». <sup>2</sup>

Подчас сам автор может усомниться в ценности «архаики»: «О сколько есть в природе таких людей, беснуемых духом древности! Сколько потеряно трудов и сожжено масла (*oleum perdiderunt*) для объяснения памятников, неважных ни для истории, ни для словесности? Греки и римляне пили и ели, может быть, нимало не заботясь о потомстве; а бедные потомки, лишая себя еды и питья, убивают дни и кричат целые ночи за решением важных вопросов: Как они пили и ели? Какие у них были вина?...». <sup>3</sup> В научно-популярных текстах использование латыни и греческого, как правило, не связано с подобными сомнениями, хотя иногда познавательный элемент сам автор может признать не вполне уместным, классическая мудрость дискредитируется, пусть эта дискредитация связана с употреблением лишь одного слова: «Каждом острову дал он свое название; самый большой из них назван Большою Канарией (от *canis*, собака), потому что на нем найдена была порода диких, огромных собак. Римляне

---

<sup>1</sup> Симонов И. М. Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии...СПб., 1844. С. 11.

<sup>2</sup> Вышеславцев А. Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания. СПб., 1862. С. 32.

<sup>3</sup> Глаголев А. Г. Записки русского путешественника...Т. 2. С. 314.



называли эти острова *Purpurae*, от вывезенного с них пурпура, известного под именем гетулийского». <sup>1</sup>

Но те же самые «древности» подсказывают путешественнику дальнейший ход мысли; очень часто обращение к древним языкам приводит автора к построению прихотливых аналогий, к уподоблению «старого» и «нового». Работа с языковым материалом позволяет найти модель для осмысления житейских впечатлений; особенно часто это случается, когда речь заходит о метафизических вопросах. Например, Глаголев описывает собрание редкостей так: «К памятникам *северных народов* принадлежат идол с тремя головами, идол с головою коня и несколько идолов вандальских с надписями, состоящими из букв латинских и греческих или славянских. На одном, который держит воловью голову, написано CCSTOS; другой имеет руки, сложенные крестом, а за плечами полукружие с многословным словом ALAOVVNVFRIO; у третьего на волосах: ГОВПАHT; у четвертого, имеющего голову барана и ноги сатира или козы, на спине следующие букв: hAVmCLVI, а на поясе: CИVVLA. Соответствующие им славянские идолы суть Триглав, Святовид с четырьмя головами, Радегаст в городе Ретре с головою львиною и с головою буйвола на груди, — Ипабог, покровитель звериной ловли». <sup>2</sup>

Впрочем, иногда сопоставление языковых материалов не выходит за рамки демонстрации лингвистических познаний автора. Тот же Глаголев, прилагая свой перевод речи Тацита, пишет: «Эта же самая речь, как известно, находится и у Тацита в XI книге его летописей. Прилагаю здесь перевод с подлинника, предоставляя самим любителям древности сравнить его с копию Тацита. Одно только подобное сравнение может дать нам некоторое понятие о степени достоверности и прочих прекрасных речей, столь часто влагаемых древними историками в уста вождей, градоначальников и императоров». <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Вышеславцев А. Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания. СПб., 1862. С. 29.

<sup>2</sup> Там же. С. 322–323.

<sup>3</sup> Там же. С. 330.

В книгах о Греции также присутствуют классические языки — большей частью в этимологических экскурсах. Например, в книге «Архипелаг и Греция в 1820 и 1824 гг.» К. Базили дан таковой комментарий к названию Микены: «Гриб, по-гречески μύκης». <sup>1</sup> Там же слово «Пеласг» сопровождается пояснением: «Πελασγός, аист; сие еще более подтверждает сказание древних о переселении народов за переселением птиц» <sup>2</sup>

И все-таки проверка даже самых простых внешних деталей, с которыми встречается путешественник, неизбежно осуществляется с помощью классического текста: «Веселые домики превращались в неопрятные хижины; на пороге их сидят нужда и бедность. Тут я невольно повторил изречение римского стихотворца: «не обольщайся наружностью! Ne credas colori!...» <sup>3</sup> Точная формулировка не совсем такова: *Nimium ne crede colori* на русском точнее передать как «Не все золото, что блестит». Источник этой фразы — 17-я эклога из второй книги Вергилия. Однако автору травелога важна не точность, а аналогия между опытом классическим и опытом современным. Для характеристики увиденного необходим камертон — таким камертоном и становится классический текст.

В дальнейшем популярных путешествиях латинские и греческие тексты, как правило пересказываются, с почти неизменными «учеными» сносками и существенными сокращениями. В книге А. Левшина «Прогулки русского в Помпеи» текст Плиния изложен так: «Дядя мой был в Мисене начальником флота. Находясь там 28 августа / 28 ноября в первом часу пополудни, вошла к нем в комнату мать моя и сказала, что в небе видно облако необыкновенной величины и формы. Дядя вышел рассматривать его, но отдаленно не узнал, что оно выходило из вершины Везувия». Поясняется не весь текст (он должен быть знаком большинству не бывавших в Помпеях читателей), а только деталь — примечанием сопровождается двойная дата: «В подлин-

---

<sup>1</sup> Базили К. Архипелаг и Греция в 1820 и 1824 гг. СПб., 1834. Ч. 2. С. 49.

<sup>2</sup> Там же. С. 52.

<sup>3</sup> Глаголев А. Г. Там же. Т. 2. С. 352.

нике *Nouam kalend. Septembris*. Одни толкователи древности относят это время к августу месяцу, другие к ноябрю и т.д.»<sup>1</sup>

Столь же популяризаторский характер носит соотнесение классического и современного словаря в путевых текстах; язык так же путешествует, как и человек; путешествие открывает нечто новое и позволяет объяснить известное: «Белый значит платыны *albus, album*. Пойдем далее и скажем, что в описанном нами обычае древних и в слове альбум скрывается происхождение тех альбомов, которыми так богаты теперь наши дамы и в которых открыта новая арена для состязания поэтов и художников».<sup>2</sup> Пояснение также присутствует: «Сундас пишет: *Leucona, id est album parietem fuisse, gypso inunctum ad inscriptionem civiliam rerum aptum*».<sup>3</sup> Иногда обращение к латинской надписи позволяет сократить описание и избежать повторов — такое использование классических языков также не следует упускать из вида: «Подобные же надписи, только не на домах, а на гробницах уцелевшие, открыли, что предместье городское, начинающееся у ворот Геркуланских и идущее по обеим сторонам консульского пути в направлении к Геркулануму, называлось *pagus Augustus felix*, а жители его, в отличие от помпеян, именовали себя *pagani*. Имя Августа напоминает нам ..., что в Помпеи были присланы две колонии римских ветеранов: одна Силюю, другая Августом... Подобным образом были названы несколько других колоний, посланных Августом в города Кампании; в Капуе была *Julia felix Augusta Capua*; в Ноле *felix Augusta Nola* и др.»<sup>4</sup>

Фантастические путешествия в первой половине века подчинены той же логике: классический текст обогащает информацией и становится своего рода опорной точкой в прошлом. «Итак, вот Европа! Локтем закрыли вы Подолию... Сгоните муху!... вот Тульчин. Отсюда мы поедем в места знакомые, в места, где провели крылатое время жизни. Ступай в Могилевскую заставу!..

---

<sup>1</sup> Левшин А. Прогулки русского в Помпеи. СПб., 1845. С. 8.

<sup>2</sup> Левшин А. Прогулки русского в Помпеи. С. 26.

<sup>3</sup> Пер.: «Левкона, то есть была белая стена, покрытая гипсом, чтобы на ней граждане могли оставлять надписи».

<sup>4</sup> Левшин А. Указ. соч. С. 28.

Чу! Кстати на улице зазвенел почтовый колокольчик... Бич хлопнул, прощайте, друзья! *Audaces fortuna juvat!* <...> Покуда Геркулес найдет, на чем переправиться через Атлантический океан, пусть будет здесь: *Nec plus ultra!*<sup>1</sup> Автор не стремится продемонстрировать свое знание Вергилия («Смелым судьба помогает!») или мифов о Геракле («До последней крайности»). Он вполне естественно обращается к классике; временные границы несущественны, вечные истины остаются действенными и в настоящем, они сопровождают повествователя, помогают ему выстраивать маршрут, если под маршрутом подразумевать нарративную стратегию. Упоминание исторических лиц становится дополнительным способом ориентировки: «Если бы только один день я терял, заговорившись таким образом о вещах, до меня еще не касающихся; если бы только я один терял день без пользы, это было бы простительно; но и император Тит почти всякий день повторял: *Amici, diem perdidit!*»<sup>2</sup>

Классическая формула может служить указанием на актуальный статус, если путешествие подчеркнуто публицистично: «Немного смешное гостеприимство подмосковных губерний имеет всегда какую-то бономию; цинический эгоизм новгородцев поселяет отвращение. Тут в первый раз приезжающий из внутренних губерний может узнать, что такое петербургский чиновник, *species petropolina, ministerialis* это махровый чиновник, далеко оставляющий за собою мелких плутов, уездных и губернских».<sup>3</sup> «Вид петропольский, министерский» маркирует положение «чужого» в провинциальном городе; приезжий чиновник живет по иным законам, именование его с использованием средств иного языка вполне обоснованно.

Подобный эффект столкновения статусов можно обнаружить в одном из самых популярных путешествий XIX столетия —

---

<sup>1</sup> Вельтман А. Ф. Странник. М., 1978. С. 10.

<sup>2</sup> Там же. С. 23. Речь идет о словах Тита, приведенных в «Жизни двенадцати цезарей» Светония: Когда однажды за обедом он вспомнил, что за весь день никому не сделал ничего хорошего, то произнес незабываемые и справедливо восхваляемые слова: "Друзья, я потерял день".

<sup>3</sup> Герцен А. И. Новгород-Великий и Владимир-на-Клязьме // Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1963. Т. 2. С. 47–48.

«Фрегате “Паллада” И. А. Гончарова: «Умываться предложено было морской водой, или не умываться, *ad libitum*». <sup>1</sup> В данном случае принцип «по желанию» — форма адаптации «сухопутных» героев на море. Таким же знаком адаптации оказывается латинская фраза и в другом эпизоде: «*Cogito ergo sum* — путешествую, следовательно, наслаждаюсь, перевел я на этот раз знаменитое изречение, поднимаясь в носилках по горе и упиваясь необыкновенным воздухом, не зная на что смотреть: на виноградники ли, на виллы, или на синее небо, или на океан» <sup>2</sup>.

Взаимоотношения культуры книжной и культуры традиционной в путевой литературе не драматизируются, а снижаются или подаются иронически, что приводит к упоминаниям классических языков в различных экзотических контекстах: «Почтенных отцов нередко затруднял недостаток слов в якутском языке для выражения многих не только нравственных, но и вещественных понятий, за неимением самых предметов. Например, у якутов нет слова *плод*, потому что не существует понятия. Под здешним небом не родится ни одного плода, даже дикого яблока: нечего было и назвать этим именем. Есть рябина, брусника, дикая смородина, или, по-здешнему, *кислица*, морошка — но то ягоды. Сами якуты, затрудняясь названием многих занесенных русскими предметов, называют их русскими именами, которые и вошли навсегда в состав якутского языка. Так хлеб они и называют хлеб, потому что русские научили их есть хлеб, и много других, подобных тому. Так поступал преосвященный Иннокентий при переложении Евангелия на алеутский язык, так поступают переложатели Священного Писания и на якутский язык. Впрочем, так же было поступлено и с славянским переложением Евангелия с греческого языка» <sup>3</sup> И постепенно латинские и греческие фразы становятся все более похожими на экзотизмы, а путешественник использует их, чтобы показать необычность тех или иных явлений и обстоятельств: «Собственно для моих нужд, и даже прихотей, совершенно достаточно было двух моих чемо-

---

<sup>1</sup> Гончаров. Полное собрание сочинений. СПб., 1997. Т. 2. С. 31.

<sup>2</sup> Там же. С. 85.

<sup>3</sup> Там же. С. 689.

данов-сундуков и моего спутника: *omnia mecum portabam*».<sup>1</sup> Герой путевого текста «всё свое носит с собою» — это относится не только к вещам, но и к языковому багажу.

Если мы обратимся к литературе путешествий конца века, то обнаружим преобладание популяризации в травелогах. Этим диктуется и обилие «ученых пояснений»: «Мир пернатых по нашему северному Поморью очень богат. Чаек тут больше всего, затем следуют утки. Ценнее всех, бесспорно, гага, *Somateria molissima*, сохранение яиц которой в Норвегии вызвало самые строгие охранительные законы, которых, к несчастью, нет у нас, и бедная гага, которой очень нравились когда-то наши бухты и заливы, почти покинула их, почти перевелась; за получением гагачьего пуха нам следует теперь обращаться к Норвегии. Характерна из здешних птиц кайра, с белой грудью и черной спиной, с ногами, поставленными далеко назад; кайра высидит одно только яйцо, синее, испещренное как будто бы еврейскими каракулями. Очень мал и юрок черненький с красным носиком и лапками чистик; крупен и важен черный баклан, обладающий зобом, схожим с тем, что отличает пеликана; очень велики некоторые сорта морских орлов. Чаек, как сказано, больше других: *Larus marinus*, *L. argentatus*, *L. tridactylis*, *L. canus* — чайка-буревестник; очень характерна *Lestrus parasitiens* — разбойник, ворующая рыб, уже схваченных другою птицей; камнешворка, *Streptopelia interpres*, ворочающая камушки для добычи червяков; следуют морские ласточки, морские сороки, морские кулики, гагары, глупыши и т. д.»<sup>2</sup>

В некоторых случаях классические формулы служат для обозначения исторических реалий: «Желание Бунге и справедливо и понятно, потому что никому не охота родниться со страшными деятелями орденского житья-бытья, начиная от времени знаменитой папской буллы 1258 года, отпускаявшей все грехи и преступления рыцарям западной Европы, одевавшим орденское платье с красным крестом и мечом на белом плаще, буллы, об-

---

<sup>1</sup> Гончаров И. А. Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 56.

<sup>2</sup> Случевский К. Поездки по северу России в 1885-1886 годах. М.: ОГИ, 2009. С. 187.

ратившей по словам Рутенберга, древнюю *Praternitas militae Christi* балтийского края в отборную колонию преступников».<sup>1</sup> Есть и примеры довольно любопытные — при описаниях жестоких нравов прошлого латинский текст не подменяет, а сопровождает русский; теперь наличие латинских фраз не отменяет необходимости описаний: «Магистр ордена Дрейлевен, только что воевавший счастливо с русскими и находившийся в Изенбурге, не замедлил явиться со своими всадниками на помощь; после совершения всевозможных казней и исключительно жестоких пыток (*exquisitis tormentis*), в который уже раз обезлюдил немецкий рыцарь на долгое время ближнюю эстонскую землю»<sup>2</sup> Впрочем, такие «параллельные тексты» чаще всего основаны на воспроизведении известных из гимназического курса словосочетаний: «Все домгерры, числом 12, должны были спать в общей спальне и ложиться одновременно, без шума и упрямства, без "*insolentia et strepita*", а кто не ночевал дома, тот привлекался к ответу, причем прочитывал 50 молитв и двигал по 50 шариков четок».<sup>3</sup>

Ученые выражения могут восприниматься с некоторой иронией, но смысл их сомнению не подвергается — в меняющемся окружении путешественника они остаются основой стабильности: «Тот же безграничный простор, те же беспредельные перспективы в будущее, то же грабительское торопливое хозяйство капиталов, давящихся предприятиями для быстрой наживы, те же принципы дерзкого риска и неутомимой энергии, тот же тип людей холодного, торгового расчета, разорвавших со всякими наследственными сентиментальностями. Таковы всегда свойства богатства *in statu nascenti*, как выражаются химики».<sup>4</sup> И подчас это представление о стабильности переносится из сферы языка в сферу государственной власти, как в нижеследующем примере, где латинская фраза призвана подчеркнуть величие достижений самодержца: «На память об этом научном подвиге

---

<sup>1</sup> Случевский К. Балтийская сторона. СПб., 1888. С. 24.

<sup>2</sup> Там же. С. 78.

<sup>3</sup> Там же. С. 45.

<sup>4</sup> Марков Е. Л. Очерки Крыма. Изд. 2-е. СПб., 1884. С. 378.

своим, а также и о боевом подвиге русских богатырей, завоевавших, вместе с другими армянскими землями, и священный Арарат, Паррот поставил среди льдов горы Ноевой высокий крест, выкрашенный черною краскою, с латинскою надписью: "Nicolao Paulo filio, totius Rutheniae autocratore iubente, Hoc Asylum sacrosanctum, armata manu, vindicavit fide christiana, Iohannes Friderici filius, Paskewitsch ab Erivan, anno Domini MDCCCXXVI. ("По повелению Николая Павловича, Самодержца всея Руси, это священнейшее убежище отвоевал вооруженною рукою для веры христианской Иван Федорович Паскевич Эриванский в лето Господне 1826")».<sup>1</sup>

И даже если значения крылатых выражений меняются — путешественник не способен отказаться от той опоры, которую он отыскивает в языковой среде, особенно если пропасть между ним и жителями окружающего региона достаточно велика: «Конечно, где же в другом месте и появиться этой первой звездочке далекого будущего, как не здесь, на Востоке, в Китае, пережившем уже в сущности свою государственность. В этом смысле — *lux ex oriente*».<sup>2</sup> Здесь традиционное выражение «свет с Востока» изменяет свое значение, уже не мудрость, а урок иным народам дает угасающий мир, по котором странствует литератор.

Как можно отметить, функционирование древних языков в литературе путешествий связано скорее с «языками», нежели с «древностью». Если в начале XIX столетия мы наблюдаем, как усложняются значения классических формул, то в конце века эти формулы появляются в результате воплощения неких условных моделей («педагогической» или «политической» чаще всего). Вместе с тем интерес к изучению этих аспектов травелога более чем оправдан.

*А. Ю. Сорочан*

---

<sup>1</sup> Марков Е.Л. Русская Армения. Зимнее путешествие по горам Кавказа // Вестник Европы 1901. № 8. С. 429.

<sup>2</sup> Гарин-Михайловский Н.Г. По Корею, Маньчжурии и Маньчжурскому полуострову // Китай у русских писателей. М., 2008. С. 194.



## ЛАТЫНЬ В ЖУРНАЛЕ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

В России издание печатной продукции начало широко развиваться лишь во второй половине XIX в. Во многом этому способствовали социально-экономические причины (активное развитие промышленности, увеличение протяженности шоссейных и железных дорог, образование банков), расширение сети учебных заведений различного уровня и т.д. Цензурная реформа 1850—1860-х гг. вызвала к жизни большое количество новых периодических изданий. Пик журнально-газетного бума пришелся на 1860 г., когда открылись 43 новых издания, а всего за период с 1857 по 1862 г. возникло 179 новых изданий. Значительно возросли масштабы книгоиздания. Если в 1855 г. было выпущено 1020 книг, то в пореформенный период число названий значительно увеличилось и в 1864 г. составило 1836<sup>1</sup>.

Во второй половине XIX в. журналы продолжают играть огромную роль. При этом обостряется борьба между газетой и журналом. Как отмечает Д. Коропчевский, «газетная пресса доказывает, что <...> теперь наступает господство газеты, имеющей возможность своевременно улавливать настроение минуты и удовлетворять запросы читателей. Не довольствуясь публицистическими задачами, газеты стали печатать и литературные рассказы в своих фельетонах <...> В то же время вместе с большою ежедневною прессой все больше и больше распространялась малая пресса, завоевывая себе читателя в таких слоях, где газеты еще недавно были вовсе неизвестны»<sup>2</sup>. Таким образом, «поверхностность утверждается как один из принципов функционирования прессы»<sup>3</sup>, этот подход и используется газетами с целью привлечения читателей.

---

<sup>1</sup> См. об этом: История книги / Под ред. А. А. Говорова, Т. Г. Куприяновой. М.: Светотон, 2001. С. 211.

<sup>2</sup> Коропчевский Д. Характер современной журналистики // Русское обозрение. 1892. № 2. С. 665.

<sup>3</sup> Летенков Э. В. «Литературная промышленность» России конца XIX — начала XX века. Л.: Изд. ЛГУ, 1988. С. 63.

Становятся популярными тонкие журналы, которые являлись промежуточным звеном между «толстыми» журналами и газетами. Конкуренция между различными изданиями, независимо от их объема и периодичности выхода, оставалась значительной. Каждый журнал не только боролся за сохранение своего читателя, но и стремился завоевать нового, используя для этого самые разнообразные средства.

В этой ситуации редакторы и издатели самых различных газет и журналов, владельцы типографий для успеха любого из своих начинаний вынуждены были ясно представлять себе интересы и требования читательской аудитории. Для того чтобы издание принесло прибыль или хотя бы окупилось, необходимо было найти свою нишу в уже сложившемся рынке, необходимо было найти своего читателя, учитывая интересы которого и предпринимать издание. В последней четверти XIX в. существовали журналы иллюстрированные и неиллюстрированные, научные и развлекательные, художественные и политические и т.д.

«Толстый» журнал стоил довольно дорого — от 12 до 16 руб. Его читательская аудитория — образованная и достаточно обеспеченная масса публики (чиновники, столичное и провинциальное дворянство). Во второй половине XIX в. подавляющая часть художественных произведений печаталась, в основном, в журналах, и лишь потом, получив читательское признание, выходила отдельными изданиями. Каждый журнал придерживался своего направления, все публикации (литературные, публицистические, научного и просветительского характера, политические обзоры и т.д.) носили однонаправленный характер и выражали не только литературную, но и общественно-политическую позицию редакции. Каждый журнал стремился наиболее полно охватить современную жизнь, предлагая своему читателю самые разнообразные сведения о культуре, внутренней и внешней политике, научных достижениях и многое другое.

Среди наиболее популярных «толстых» журналов можно назвать «Русское обозрение» (издатель Н. Боборыкин, редактор кн. Д. Цертелев); «Наблюдатель» (редактор А.П. Пятковский); «Северный вестник» (издавался с 1885 по 1889 г.

А.В. Сабашниковой, под редакцией А.М. Евреиновой; с 1889 г. — А.М. Евреиновой; в 1890—1891 гг. Б.Б. Глинским, который был и редактором; с 1891 г. — Л.Я. Гуревич, редактором в это время был сначала М.Н. Альбов, а с марта 1895 г. Л.Я. Гуревич); «Русский вестник» М.Н. Каткова; «Вестник Европы» М.М. Стасюлевича.

К концу XIX в. «толстый» журнал, сохраняя роль руководителя общественного мнения, как бы выделяет из своего состава журналы по интересам: журналы для юношества и самообразования («Мир божий»), журналы для семейного чтения («Семья»), научно-популярные («Наука и жизнь», «Журнал для всех»), научно-философские («Научное обозрение»), педагогические («Образование»), журналы искусств («Искусство и художественная промышленность», «Мир искусства») и т.д.<sup>1</sup>

«Исторический вестник» — ежемесячный историко-литературный журнал, который начал выходить с 1880 г. под редакцией беллетриста и историка Сергея Николаевича Шубинского. Цель, которую поставила перед собой редакция, — «знакомить читателя в живой, общедоступной форме с современным состоянием исторической науки и литературы в России и Европе». В журнале печатались материалы по истории литературы, политической и церковной истории России и Европы, публиковались исторические материалы и документы. С целью увеличения количества подписчиков значительное место в журнале занимала историческая беллетристика (печатались произведения Н.С. Лескова, Е.А. Салиаса, Д.Л. Мордовцева, Г.П. Данилевского, Вс. Соловьева).

Шубинский материалы к первому году издания собирал заранее, о чем свидетельствует его переписка<sup>2</sup>. В последующие годы концепция «Исторического вестника» хотя и незначительно, но менялась, тем не менее, содержание номеров 1880—1881 гг. особенно показательно с точки зрения характеристики и

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Есин Б. И. История русской журналистики (1703—1917): Учебно-методический комплект (учеб. пособие; хрестоматия; темы курсовых работ). 3-е изд., испр. М.: Флинта: Наука, 2006. С. 61.

<sup>2</sup> Письма Вс.С. Соловьева С.Н. Шубинскому (публикация С.А. Васильевой) // Русская литература. 2009. № 3. С. 128—137.

направления журнала. «Исторический вестник» был нацелен на привлечение как можно более широкого читателя, поэтому редакция стремилась избегать излишней научности. Латинский язык, конечно, был неотъемлемой частью образования в России, однако появление во второй половине XIX в. нового читательского слоя, демократического читателя, требовало корректировки содержания. В «Историческом вестнике», что отличало его от сугубо научных журналов, латынь встречается достаточно редко и всегда обоснованно.

Один из разделов, которому редакция с первых дней уделяла особое внимание, — «Современная историография». Он должен был представлять научный, но доступный широкому читателю отчет о современных и наиболее интересных работах западной историографии. Рубрика появляется уже во втором номере журнала, и первым был опубликован обзор исследований, посвященных Франции. Хотя анализировались работы, вышедшие за последний, 1879 год, статья была обстоятельная, с многочисленными экскурсами в историю, с отсылками к предшествующим трудам, поэтому она печаталась в трех номерах. Автор скрылся под криптонимом «Иф...л», так подписывал свои произведения Владимир Иванович Герье, русский историк, профессор Московского университета, член-корреспондент Петербургской академии наук, почетный член множества университетов. Он читал курсы по историографии и истории Французской революции, позднее стал автором работ «История Франции XVIII века», «Политические теории XVIII века», монографии «Идея народовластия и Французская революция» (1894).

В одном из номеров Герье рассматривает книгу Ф. Рокэна «Революционный дух до революции». Здесь поднимается очень широкий круг вопросов. В частности, автор отмечает: «...право парламента стало получать все большее и большее значение вследствие того, что с усилением централизации и усовершенствованием административного механизма число издаваемых законов постоянно росло, и во вторых потому, что тогдашнее государственное право не различало юридических распоряжений правительства от фискальных; и парламента поэтому, особенно парижский, получили таким образом косвенное право на-

лагать свое veto, хотя и временное, на составление государственного бюджета»<sup>1</sup>. Слово «veto» Герье использует как термин: во второй половине XIX в. он часто напрямую соотносился с правовой системой Франции. Так, М.И. Михельсон, переводя veto как «запрещаю (не позволяю)», в частности, указывает, что veto «во Франции — право короля против решения собрания»<sup>2</sup>. Ниже, характеризуя состояние дел во Франции, Герье пишет: «Благодаря искусству и продолжительности диктатуры Ришелье и самого Людовика XIV королевская власть во Франции сделалась абсолютной, но только de facto, ограничение ее правда было доведено до минимума, до пустой формальности — регистрировать законы в парламенте — но в этой формальности крылась никогда не исчезающая во французском народе потребность санкционирования королевских законов особым более или менее самостоятельным учреждением, представлявшим своим участием гарантию законности». (Там же. С. 770). В обоих случаях термины хотя и относились к юридической сфере, но стали общепупотребительными и не требовали перевода.

Случаи включения в текст такого рода латинских слов и выражений встречаются в «Историческом вестнике» чаще других. Так, в статье «Отношения Китая к России» говорится, что Китай, несмотря на то, что считал всегда все манчжурские и монгольские племена своими подданными, «не настаивал решительно, т.е. не делал из этого casus belli (повода к войне. — С.В.), на возвращении перешедшего из китайского подданства в русское, тунгусского князя Гантимура с его родами» (1880. Т. 3. С. 111).

Если в публикации требовалось привести развернутое латинское выражение, чаще всего давался его перевод. В статье Д.И. Завалишина «Воспоминания о графе Остермане» дается описание надгробного памятника работы Кановы, который зака-

---

<sup>1</sup> Иф....л. Современная историография. Франция. Отдел второй. 1880 Т. 2. С. 769—770. Далее ссылки на журнал «Исторический вестник» приводятся в тексте с указанием номера и страницы.

<sup>2</sup> Михельсон М.И. Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний). СПб., 1896. С. 578.

зал себе сам граф и «на котором он изображен лежащим, опираясь рукою на барабан, как и происходило это при операции, возле лежала оторванная рука, а в барабан были вделаны часы, на которых стрелки означали время получения тяжелой раны, и была надпись латинская: *Vidit horam, nescit horam!* (Видит час, но не знает час, т.е. того часа, в который человека постигнет известная участь» (1880. Т. 2. С. 95).

Некоторые латинские термины требовали пояснения. В таких случаях перевода могло и не быть, но давалось развернутое пояснение. В разделе «Смесь» приведен развернутый отчет «Чтения и беседы в археологическом институте», в котором излагается содержание доклада Н.В. Покровского «О римских катакомбах»: говорится об истории изысканий, названы наиболее известные археологи, благодаря трудам которых «явилась возможность восстановить чистые формы древне-христианского искусства и осветить многие темные формы древне-христианской обрядности». В частности, «со стороны внешней формы, римские катакомбы представляют сеть переплетающихся узких коридоров и комнат: по сторонам коридоров расположены места погребения в виде четырехугольных ниш: это *loci* или *loculi* (места, местечки — С.В.)». Далее пояснялось назначение ниш: «сюда полагалось тело мертвеца, намащенное ароматами и завернутое в чистое полотно. Отверстие ниши закладывалось каменной плитой, на которой означалось звание умершего, возраст, год, месяц и даже день смерти <...>» (1880. Т. 2. С. 95).

Статья М. Серно-Соловьевича «Бискуп Маршевский в Ленчице. (Эпизод из последней польской смуты)» начинается с истории уездного города и его построек. В числе древностей Ленчицы «сохранились до настоящего времени развалины замка, построенного Казимиром III, и так называемый Тумский костел, отстоящий от теперешнего города около версты. Означенный костел, бывший зародышем первоначальной Ленчицы, принадлежал к числу древнейших польских святынь. По преданию, постройка его восходит к временам Мечислава. Уже в булле папы Иннокентия II, в 1136 году, при перечислении владений гнезненского архиепископства, говорится: “*Item abbatia S. Marie in cas-*

tello Lancicie cum centis servis et villis eorum” (А также аббатство Св. Марии в костёле Ленчицы с сотнями служителей и их домами. — С.В.)). Перевод в статье отсутствовал. Но даже если читатель не понял фразу дословно, то «castello Lancicie» в сочетании с 1136 г. восстанавливал смысл и подтверждал древность постройки (1881. Т. 5. С. 306).

На латинском языке часто приводились молитвы и отрывки из них. В статье И.В. Цветаева «Народные обычаи Абруцц» рассматривается их культура, в том числе народная медицина и «физика»: «перенесемся теперь в область физики Абруццевян и посмотрим хотя бы на *те меры*, к которым они прибегают для обеспечения себя *во время грома, во время бури*.

Обыкновенное средство, к которому они прибегают в этом случае, есть средство религиозное и состоит в молитве: *A fulgure et tempestate libera nos Domine* (от молнии и бури избавь нас, Господи. — С.В.)» (1881. Март. С. 652). В этой же статье есть и обратный пример, когда начало молитвы приводится на русском языке, а в скобках дается латинский текст. В 1786 г., когда на одну из областей напала гусеница, жители обратились с просьбой о помощи: «Челобитная начиналась словами Бога к первым людям: “Владычествуйте над рыбами морскими и птицами небесными (*Dominamini piscibus maris et volatilibus coeli*)”, далее говорилось, что бессмысленные твари, причиняющие вред существам разумным, могут быть приводимы к повиновению средствами сверхъестественными и натуральными. И так как первые из них, каковы общественные покаяния и заклинания <...> оказались недостаточными, то они и прибегают к средствам натуральным, т.е. бьют челом баронской управе <...>. да соблаговолит она “повелеть саранче и гусеницам в кратчайший срок, не опустошая более созревших и зреющих плодов, оставить эту область и идти туда, где они не могли бы наносить вреда человеческому обществу”» (Там же. С. 654). Любопытно, что Баронская Управа вняла этой просьбе, губернатор издал указ вредным насекомым немедленно оставить эту область: «“*Caveant* (говорилось в этом приказе) *de contrario sub poena indignationis et disgratiæ Divinae Majestatis* (Пусть, наоборот, они остерегаются под страхом наказания за негодования и немилостиво

сти Божественного величия. — С.В.)». Эта губернаторская бумага прошла целый ряд других служебных инстанций, возбуждая собою канцелярскую переписку, где саранча и гусеницы играют первенствующую роль» (Там же). Как видно из контекста, даже не знающий латинского языка общий смысл губернаторского указа поймет.

В целом же в статьях достаточно часто встречались французские слова и выражения, латынь же представлена минимально. Однако проблемы классического образования и изучения латинского языка на страницах «Исторического вестника» ставились неоднократно.

В апрельской книжке за 1881 г. в разделе «Критика и библиография» анализируется книга Дм. Лебедева «Эллада и Рим; культурная история классической древности Якова Фильке. Двенадцать выпусков. СПб., 1881». Автор отмечает значительную популярность за границей иллюстрированных изданий, посвященных древнеклассическому миру; «без сомнения развитию вкуса к подобным изданиям содействовали с одной стороны успехи классического языкознания вообще — особенно заметные в последнее десятилетие — а с другой необыкновенно важные по своим результатам раскопки, произведенные Шлиманом» (С. 681). Автор обзора подчеркивает, что книга представляет собой «не специальное учение, а популярное сочинение, посвященное античному миру и назначенное исключительно для образованной публики», но при этом, рассуждая о культуре и языке древней цивилизации, он не употребляет ни одного латинского выражения. Сочинения, подобные книге Лебедева, отмечается далее в рецензии, «в высшей степени полезны для неспециалистов, желающих изучить античный мир», и тем более полезны учащимся (С. 682). Ученик гимназии из курса древней истории получает знание фактов политической истории Греции и Рима, он усваивает имена, хронологию событий, но история древней культуры почти всегда остается в стороне. Этот пробел и восполняет популярное сочинение, предназначенное для домашнего чтения, украшенное изящными гравюрами: «сообщите ученику знакомство со всем этим <...> и вы непременно заставите его полюбить красоту античного мира, а следовательно разовье-



те в нем любовь и заохотите к изучению древних литератур» (С. 682).

О проблемах образования, в том числе изучения древних языков и литературы, пишет в апрельском номере 1881 г. В.Г. Авсеенко. В статье «Школьные годы» автор с сожалением констатирует, что «классическая система, водворенная гр. Уваровым, в конце 40-х годов была заподозрена и нарушена. Греческий язык сохранился только в некоторых гимназиях, предназначенных готовить учеников к поступлению на историко-филологические факультеты, преподавание латинского решено начинать только с четвертого класса; взамен того введено с первого класса преподавание естествознания и увеличено число уроков по математике», реформу эту Авсеенко называет «делом бюрократического невежества» (С. 712). Учились при этом хорошо даже у преподавателей «невозможных». Такова была ситуация, в частности, с латинским языком, фамилию преподавателя, «удивительного чудака», автор статьи не стал приводить полностью («З-ов»): «Недурной знаток своего предмета и человек подчас очень взыскательный, он с этою взыскательностью соединял что-то бесконечно распущенное и шутовское. У него была страсть к скабрёзным анекдотам, и он требовал, чтоб к каждому уроку один из воспитанников приготовил такой анекдот, но непременно им самим сочиненный, и остроумный. Как только войдет З-ов в класс, один из нас тотчас выходит к доске и начинает рассказ... Если анекдот недурен, З-ов хохочет, мы тоже; если не понравится — скажет: «ну, это глупо» — и непременно будет гораздо строже ставить баллы. Казалось бы, такой учитель должен был иметь самое разлагающее влияние на мальчиков, а на поверку выходило, что из латинского языка большинство училось очень недурно, и притом я никогда ни от кого из товарищей не слыхал, чтоб этот предмет считался трудным» (С. 715). Более того, сравнение этого преподавателя с другими профессорами оказывалось не в пользу последних. Так, с большой симпатией рассказывается о профессорах классической словесности, немцах Деллене и Нейкирхе, «оба дерптские питомца были отличные филологи, но в таком узком смысле, до такой степени вне связи с русским образованием, с русской ли-

тературой, с русской молодежью, что произошло очень странное явление: в гимназии, где учителя латинского языка конечно гораздо меньше знали, где мы сами конечно меньше сознавали научное значение древних языков — мы присутствовали на уроках латинского учителя с гораздо большим интересом, чем на лекциях немецких филологов. <...> И это происходило не потому, чтоб нас затрудняла латинская речь профессоров — они умели говорить очень понятно, — а потому что в их устах древность явилась может быть весьма близко к из немецкому фатерланду, но весьма далекою от какой бы то ни было, хотя бы лишь литературной, связи с русской мыслью и жизнью» (С. 729)

Прибегает Авсеенко к латыни и в своих мемуарах. Он весьма критично оценивает знания и манеру преподавания профессора Алексея Ивановича Ставровского, пересказывает слух, что Грановский, когда хотел потешить своих друзей, зачитывал отрывки из книжки Ставровского, а его лекции названы «винегретом каких-то выдохшихся анекдотов, собранных в книгах прошлого столетия» (С. 720). Интересно, что, не довольствуясь курсом всеобщей истории, Ставровский «читал <...> какую-то науку, по собственным его словам им самим изобретенную, именно “теорию истории”. Под таким заглавием она красовалась и в печатном расписании факультетских чтений. Я был на первой лекции этой *scienza nuova*; профессор совершенно ошеломил меня живописностью метафор — то он сравнивал историю с голой женщиной под прозрачною дымкой, сквозь которую, т.е. дымку, проникает пытливый взор историка, то строил какую-то необычайно сложную машину, наподобие шарманки, объясняя пораженным слушателям, что вал означает человечество, зубцы, за которые он задевает — события, а рукоятка, которая его вращает — уж не помню что, чуть ли не самого профессора. От дальнейшего слушания “теории истории” я уклонился» (Там же).

Краткий обзор журнала за первые годы его существования показывает, что редакция предлагала для чтения самый разнообразный материал, но разнообразие это было строго продумано и четко организовано. При всей кажущейся пестроте стержнем, на который нанизывались публикации, была история. С одной стороны, интерес к такого рода материалам предполагал опре-

деленный уровень образования: читатель должен быть знаком с русской и зарубежной историей, географией, политическим устройством различных государств и т.д. С другой стороны, беллетристическая составляющая давала возможность приобщиться к истории менее развитым взрослым читателям и учащимся, поскольку сложный и неоднозначный материал излагался авторами доступно и занимательно, что выгодно отличало его от «Русской старины» и «Русского архива». Кроме художественных произведений, которые остались вне рамок нашего исследования, в «Историческом вестнике» печатаются были и небылицы, исторические анекдоты и мемуары, документы и свидетельства очевидцев, библиографические обзоры и анонсы и т.д. Большой популярностью пользовались разделы «Смесь», «Заграничные исторические новости и мелочи», «Библиография» и др. Журнал не был наукообразным, не ограничивал круг своих читателей серьезной научной аудиторией, подтверждением чему и является весьма редкое употребление латинских слов и выражений.

*С. А. Васильева*

## ГЛАВА IV

### СТАТУС ЦИТАТЫ И СТАТУС ЯЗЫКА

#### ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС ЦИТАТ

Проблемы цитации находятся в сфере интересов многих филологических дисциплин. В литературоведении подробно разработана данная проблематика. Цитация исследуется там прежде всего как художественный прием и стоит в ряду таких явлений, как интертекстуальность, аллюзия, реминисценция. В лингвистических же исследованиях, на наш взгляд, не уделено достаточного внимания этой проблематике. Об этом свидетельствует, к примеру, отсутствие данного термина в Лингвистическом энциклопедическом словаре.<sup>1</sup> Тем не менее цитация представляет большой интерес для лингвистики. Прежде всего потому, что является специфической формой функционирования языка в речи. Кроме этого, изучение цитации может оказаться полезным для объяснения некоторых языковых проблем. К тому же лингвистическое осмысление цитации будет способствовать более корректному анализу этого явления другими дисциплинами.

Обычно цитация понимается как точное воспроизведение в данном контексте определенного отрезка из иного контекста, принадлежащего другому лицу. Границы этого отрезка могут значительно различаться: от одного слова до целого произведения. Лингвистическое исследование цитат и цитации может предполагать множество аспектов: своеобразия функционирования цитат в текстах различных функциональных стилей, использование цитаты как своеобразный речевой ход, текстообразующие свойства цитаты и др. Задача данной статьи состоит в том, чтобы попытаться выявить место цитаты среди смежных речевых явлений и таким образом установить ее лингвистический статус.

---

<sup>1</sup> Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Наука, 1990.

Цитаты как речевой феномен (имеется в виду и устная, и письменная речь) находятся в ряду таких явлений, как паремии, крылатые слова, фразеологизмы, штампы, афоризмы, терминологические выражения. Их объединяет то, что все они относятся к так называемым «готовым средствам выражения». «Готовым» называют фрагмент письменной или устной речи, который говорящему/пишущему не нужно самому конструировать в момент речи, он используется в «собранном» виде применительно к данной конкретной ситуации. Некоторые исследователи считают, что в основе всех перечисленных явлений лежит цитация, однако всякий раз это цитация разного вида.<sup>1</sup> Хотя, на наш взгляд, в этом случае сам термин «цитата» будет сильно размыт в значении.

Если представить соотношение данных явлений в терминах структурной лингвистики, то принадлежность к готовым средствам выражения будет интегральным, объединяющим признаком, позволяющим рассматривать их все в одном ряду, а то, что их различает (наличие/отсутствие конкретного автора, наличие/отсутствие образности, наличие жестких структурных рамок и т.д.) можно назвать дифференциальными признаками. В основном эти признаки отражены в определениях рассматриваемых явлений, однако в некоторых случаях можно наблюдать смешение понятий или неоднозначность в их определениях. Так, нет достаточно жестких границ между цитатой и крылатым выражением. Сам термин «крылатое выражение» имеет несколько разновидностей: «крылатые слова», «крылатые фразы», «крылатые изречения». Это проявляется в лексикографической практике: «Словарь живых крылатых выражений русского языка»,<sup>2</sup> «Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения»,<sup>3</sup> «Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фра-

---

<sup>1</sup> Шварцкопф Б.С. О некоторых лингвистических проблемах, связанных с цитацией//Лингвистические проблемы цитации. М., 1974. С. 113.

<sup>2</sup> Князев Ю.П. Словарь живых крылатых выражений русского языка: Около 4000 крылатых выражений. М.: Астрель: АСТ, 2010.

<sup>3</sup> Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. 4-е изд., доп. М.: Худ. лит., 1987.

зеологии. Сборник образных слов и иносказаний»,<sup>1</sup> «Крылатые латинские изречения в литературе»<sup>2</sup> и др. Смысловых различий между этими разновидностями не наблюдается, кроме отмеченного Л.П. Дядечко различия между крылатым выражением, состоящим из одного слова (поэтонимы «Манилов», «Обломов» и т.п.) и крылатыми выражениями, состоящими из нескольких слов («Государство — это я», «In jure veritas» и т.д.). Для этих разновидностей Л.П. Дядечко предлагает использовать родовой термин «эптонимы»,<sup>3</sup> который пока не получил широкого распространения в лингвистической литературе.

Впервые выражение «крылатые слова» встречается у Гомера,<sup>4</sup> в поэмах которого оно часто встречается. «Крылатыми» он называл слова, которые быстро срываются с уст говорящего и летят к уху слушающего. В терминологическом смысле это выражение стало использоваться после выхода в 1864 г. книги Георга Бюхмана «Geflügelte Worte. Klassische Zitatensammlung» («Крылатые слова. Цитатная сокровищница немецкого народа»)<sup>5</sup>.

В России в 1892 г. издается книга М.И. Михельсона «Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, поговорок, пословиц, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний)». В Предисловии к I изданию автор, определяя принципы выбора материала для своего словаря, пишет: «Изречения мудрецов, а также подслушанные в народе меткие слова, выражая в возможно краткой форме, — то в прямом смысле, то удачными сравнениями, то иносказательно, — ту или иную мысль или известное понятие, сделались любимыми, общеупот-

---

<sup>1</sup> Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. 2-е изд., Т.1, СПб, Типография императорской академии наук, 1896.

<sup>2</sup> Овруцкий Н.О. Крылатые латинские выражения в литературе. М.: Просвещение, 1969.

<sup>3</sup> Дядечко Л.П. Крылатые слова как объект лингвистического описания: история и современность. Киев, 2002. С. 140–141.

<sup>4</sup> Займовский С.Г. Крылатые слова. Справочник. Цитаты и афоризмы. М.; Л.: Госиздат, 1930. С. 11.

<sup>5</sup> Шулежкова С.Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие. Челябинск: Изд-во ЧГПИ «Факел», 1995. С. 5.

ребительными, большинству знакомыми словами: отличаясь не только оригинальностью и красотой формы, но и своею убедительностью и многовековой авторитетностью, они «пошли в ход», приняты и усвоены обществом, и сделались ходячими — наравне с ходячею монетою, всеми принимаемой и имеющей свою известную цену».<sup>1</sup> Автор широко трактует выражение «меткие слова», так как тогда в языкознании не была еще разработана типология устойчивых выражений разного рода, однако в этом определении есть много полезного для разграничения «метких слов» (в современной терминологии «крылатых выражений») и цитат. Крылатые фразы должны характеризоваться краткостью, общеупотребительностью, известностью широкому кругу людей, красотой формы, убедительностью, авторитетностью, возможностью употребления как на родном, так и на иностранном языке. Из всего перечисленного лингвистическими характеристиками можно назвать следующие: краткость, общеизвестность, возможность употребления на иностранном языке. Общеизвестность, как нам представляется, формально реализуется в тексте как отсутствие дополнительных комментариев и отсылок к определенным контекстам. Б.С. Шварцкопф считает общеизвестность главным признаком крылатого выражения: «Употребление крылатого слова — типичный случай цитирования. При этом обычно предполагается, что и говорящему (пишущему), и слушающему (читающему) известны автор произведения и главное — контекст, из которого заимствовано выражение, их не надо называть; сходство с ситуацией контекста-источника в данной ситуации служит основой «выразительной характеристики», являющейся содержанием крылатого слова».<sup>2</sup> Мы полностью согласны с автором, но считаем, что необходимо включить в характеристику крылатого выражения, вслед за М.И. Михельсоном, еще два признака: возможность использования выражения на иностранном языке (так как не все готовые

---

<sup>1</sup> Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. 2-е изд. Т. 1. СПб, Типография императорской академии наук, 1896. С. VI.

<sup>2</sup> Шварцкопф Б.С. *Op. cit.* С. 114.

средства выражения обладают таким качеством) и как формальный признак — относительную краткость по сравнению с цитатой (в силу того, что крылатое выражение хранится в готовом виде в памяти говорящего). То есть, краткость и общеизвестность являются для крылатого выражения как речевой единицы обязательными качествами, а для цитаты таковыми не являются. Цитата может быть сколь угодно длинной и малоизвестной.

В лингвистике существуют другие подходы к этой проблеме. С.Г. Шулежкова выделяет пять отличительных признаков крылатых единиц: связь с источником (автором; литературным, мифологическим, фольклорным или историческим персонажем; произведением искусства или литературы; реальным событием и т.д.); раздельнооформленность (они состоят из одного-двух или более компонентов словного характера, связанных между собою по грамматическим законам данного языка); воспроизводимость (они не создаются в процессе общения, а воспроизводятся в готовом виде); устойчивость компонентного состава и грамматической структуры (не исключающей вариативности); стабильность семантики, закреплённой за данным выражением.<sup>1</sup> Данное определение представляется слишком широким: так же можно определить и цитату, а свойства грамматической связности и раздельнооформленности характерны для любого речевого произведения. Кроме того, как отмечал С.И. Ожегов, нередко в сознании говорящего крылатое выражение перестаёт ассоциироваться с конкретным автором или конкретным произведением, выражение вообще утрачивает «оттенки, связывающие его с представлениями об авторе, колорите контекста или эпохи».<sup>2</sup> В качестве примера можно привести следующий контекст: (Клава) — «Все никак не запомню, кто из писателей каким был. Толстой — зеркало, Горький — основоположник, Чехов — невидимые слезы. Или это Гоголь — невидимые слезы? Ага, Гоголь, наверно». Н. Евдокимов, «Ни кола, ни двора» (Наш современник, 3,

---

<sup>1</sup> Шулежкова С.Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие. М., 2002. С. 170.

<sup>2</sup> Ожегов С.И. О крылатых словах (по поводу книги Н.С. и М.Г. Ашукиных «крылатые слова») // ВЯ, 1957, № 2. С. 126.



1965, 17). «Лев Толстой как зеркало русской революции» — название статьи В. И. Ленина; «основоположник литературы социалистического реализма» — общепринятая характеристика Горького; «...озирать ее [жизнь] сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы» — слова Гоголя из «Мертвых душ», но у Чехова действительно есть рассказ под названием Невидимые миру слезы, ассоциируемым со словами Гоголя). (Пример Б.С. Шварцкопфа<sup>1</sup>).

Еще один тип речевых произведений, паремии, отличаются от цитат и крылатых выражений отсутствием конкретного автора. При этом достаточно часто их считают разновидностью крылатых слов: «Крылатые слова имеют два источника. Во-первых, это, по своему происхождению, народные поговорки и пословицы. Во-вторых, книжные цитаты; «... крылатое слово есть пословица или поговорка литературно-образованных кругов.<sup>2</sup> Также паремии обладают структурными отличиями от цитат и крылатых выражений: пословица — всегда законченное предложение, поговорка представляет собой словосочетание, часть предложения, а ни крылатые слова, ни цитаты не имеют таких структурных рамок.<sup>3</sup>

В лингвистической литературе представлены различные точки зрения на взаимоотношение цитат, паремий, фразеологизмов, крылатых выражений. Достаточно широко распространено мнение о том, что все готовые средства выражения можно считать объектом фразеологии. Представители «широкого понимания фразеологии» (выражение С.И. Ожегова) рассматривают ее как самостоятельную дисциплину и включают в ее состав все сочетания, обладающие признаками устойчивости и воспроизводимости. В связи с этим представляет интерес взгляд на объем фразеологии В.Н. Телии, которая под объемом фразеологии понимает «все типы узуально воспроизводимых сочетаний, которые группируются в сильно размытые множества на основании

---

<sup>1</sup> Шварцкопф Б.С. *Op. cit.* С. 116.

<sup>2</sup> Ожегов С.И. О структуре фразеологии (в связи с проектом фразеологического словаря русского языка) // Лексикографический сборник, Вып. 2. М., 1957. С. 38.

<sup>3</sup> Займовский С.Г. *Op. cit.* С. 16.

тех или иных характерных для каждого множества признаков и отношений между ними»<sup>1</sup>. В.Н. Телия выделяет 6 разделов — «фразеологий». Фразеология-1, по мнению В.Н. Телии — это «лексическая идиоматика» (типа *положа руку на сердце, биться как рыба об лёд* и т.п.). Фразеология-2 — учение о таких воспроизводимых сочетаниях слов, которые В.В. Виноградов назвал фразеологическими сочетаниями (типа *щурить глаза, кауряя лошадь* и т.п.). Фразеология-3 — это клише, «речевые заготовки» (типа *Не могли бы вы передать мне горчицу*). К фразеологии-4 В.Н. Телия относит фразеологию декабристов, фразеологию романтизма, публицистическую фразеологию и т.д. Она подчеркивает, что фразеология-4 — «это скорее область семантики и прагматики лингвистики текста»<sup>2</sup>. Фразеология-5 — это пословицы и поговорки. Фразеология-6 — «цитации» или «чужая речь», приводимая по памяти (или подлиннику), а не извлекаемая из общенародного тезауруса (или лексикона данной языковой личности)<sup>3</sup>. В.Н. Телия считает, что к собственно лингвистическим разделам относятся фразеология-1 — фразеология-4, которые выполняют разные задачи. Фразеология-5 — раздел паремиологии. Фразеология-6 «прикладная область лингвистики, занимающаяся коллекционированием афоризмов, предложений и слов, воспринимаемых как «цитации». То есть автор рассматривает все виды устойчивых сочетаний как фразеологизмы, имеющие некоторые отличия друг от друга. Однако фразеологизм предполагает не только устойчивость, но и второе существенное свойство — идиоматичность. «Фразеологические единицы (=фразеологизмы) — это фразовые идиомы с полностью транспонированным (переносным) значением»<sup>4</sup>. Эта дефиниция называет или подразумевает следующие свойства фразеологизмов: устойчивость, раздельнооформленность, семантическую осложненность, полную семантическую неравнообъем-

---

<sup>1</sup> Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 59.

<sup>2</sup> Телия В.Н. *Op. cit.* С. 73.

<sup>3</sup> Телия В.Н. *Op. cit.* С. 75.

<sup>4</sup> Савицкий В.М. Основы общей теории идиоматики. М.: Гнозис, 2006. С. 112.

ность (переносное значение), частичную либо полную семантическую целостность, образность, немоделированность по первичным правилам семантической комбинаторики (а значит, и по схеме непереосмысленного переменного сочетания слов)<sup>1</sup>. Цитата, как нам представляется, не обладает никакими из перечисленным признаков кроме раздельнооформленности, поэтому было бы неправомерно рассматривать ее как разновидность фразеологизма.

Что касается терминологических выражений (имеются в виду выражения типа *Nota bene!*; *opus citatum*; *vide supra* и пр.), то они также имеют серьезные отличия от цитат: употребляются, как правило, на латинском языке, не имеют конкретного автора и не требуют отсылки к нему, обладают специфической стилевой отнесенностью, используются только в письменной речи, не характеризуются образностью.

Таким образом, определяя лингвистический статус цитаты, можно сказать, что цитата — это функциональная речевая единица, относящаяся к готовым средствам выражения, существенными признаками ее являются наличие конкретного автора (или устоявшегося представления об авторстве, если таковое точно не установлено, как, например у «Илиады»), соотносительность с первоначальным контекстом, отсутствие структурных ограничений и особенностей (таких, как у пословиц и поговорок). Наличие образности и идиоматичности несущественно в определении цитаты. Наиболее близким цитате явлением среди готовых средств выражения можно считать крылатое выражение, так как по происхождению оно всегда цитата, но если понимать под крылатым выражением единицу, которая «оторвавшись от первичного контекста (сохраняя при этом ассоциативно-генетическую память о нем) и закрепив свои формальные и содержательные характеристики, превратилась в достояние всего народа»<sup>2</sup>, то и здесь различия очевидны.

*Е. П. Максимова*

---

<sup>1</sup> Савицкий В.М. Там же.

<sup>2</sup> Дядечко Л.П. Крылатые слова нашего времени: толковый словарь. М., 2008. С. 4.

## О СЛАВНОМ ПРОШЛОМ И СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ РОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Преподавание родной словесности не просто переживает трудные времена, но находится в очевидном глубоком кризисе. Между тем бывали периоды расцвета этой дисциплины (кстати, не существующей в современных учебных программах), в частности к середине XIX века, после которого начинается медленное её угасание, продолжающееся до двадцатых годов XX века. Нет никаких сомнений в том, что впереди у родной словесности очередной подъём уже потому, что сама логика развития предполагает неизбежное «оздоровление» после критической точки падения.

«Термин» «словесность» имел два основных значения: 1) способность или мастерство выражения мысли в слове с применением правил искусств речи («искусство сочинять») и 2) совокупность произведений, в которых применяются при создании эти правила»<sup>1</sup>. Надо представлять себе, что становление этого учебного курса в российской гимназии происходило на фоне основного содержания обучения — древних языков, а также новых, во многом опиравшихся на базовое усвоение языков античных. Всё это соответствовало само собой сложившейся в Европе традиции, в рамках которой в основу образования был положен тривий (грамматика, логика и риторика). Среди многочисленных факторов влияния европейской системы образования на образование в России следует отметить совершенно особое место классической прусской гимназии. «В стране, где среднее образование лишь делало первые мучительные шаги в начале XIX века, латынь смогла занять на удивление выдающееся место, если принять во внимание, что она являлась заимствованным феноменом. Русский «классицизм» достиг своего пика, когда министром был граф Толстой, посещавший Пруссию для

---

<sup>1</sup> Зарифьян И.А. Общая и частная риторика в истории курса «Теория словесности» [Текст] / И.А. Зарифьян // Риторика. 1995. № 1. С. 98.

того, чтобы познакомиться с немецкой системой образования из первых рук. План, представленный в 1869-м году, предполагал два уровня среднего образования: во-первых, учреждения, дающие практическую подготовку детям, которые в будущем станут выполнять локальные функции; во-вторых, классические гимназии, готовящие более способных детей для университета и гражданской службы. После пересмотра в 1871-м году классические предметы — на практике почти одна латынь — занимали 41 процент учебного времени в гимназии, притом что 14 процентов отводилось на математику, 12 на русский язык и ещё 10 на современные языки. И хотя после того, как министр впал в немилость в 1882-м году, количество отводимого на латынь времени сократилось за счёт расширения преподавания русского языка, литературы и географии, гимназия удерживала доминирующее положение над реальным училищем и на пороге Октябрьской революции, а латынь оставалась её главным предметом»<sup>1</sup>. На протяжении столетия образование непрерывно реформировалось, однако на общем фоне складывалась совершенно особая филологическая традиция. «В российских условиях удалось удачно присоединить к европейскому опыту и славянский элемент, в результате чего возникло особое, очень доверительное и тонкое, отношение к слову, как это сплошь и рядом звучит уже в XX веке. Словесность, понимаемая и как своего рода умение, и как кладовая мудрости и изящности, постепенно превращается в своеобразный магнит, притягивающий всю гуманитарную составляющую гимназического образования. Потеря курса теории словесности в нашем образовании — самая несправедливая потеря, поскольку опыт XX века однозначно показал, что разрыв между литературоведением и языкознанием в новых образовательных стандартах пока что имеет самый печальный результат — выпускники школ не имеют ни малейшего представления о языке как феномене, совершенно не владеют иностранным языком, крайне мало начитаны и не стремятся к

---

<sup>1</sup> Françoise Waquet. *Latin or the Empire of a Sign. From the sixteenth to the twentieth centuries* [Текст] / Françoise Waquet: Translated by John Howe. London – New York: Verso, 2001. P. 28–29.

чению как виду деятельности»<sup>1</sup>. Так получилось, что намеченный в XIX веке путь развития теории словесности оказался резко преграждённым. «... В первой четверти XX века теория словесности как курс, обучающий искусствам речи, оказалась разрушенной. Задачей курса стало формирование массового читателя художественной литературы. Эта задача стала одним из оснований дидактики родного языка. Систематизация родов и видов словесности осталась в составе курса во фрагментарном виде. <...> В советское время сформировалась картина одноязычной дидактики, то есть раздутого курса родного языка и недостаточного преподавания иностранных языков, с одной стороны, и разрыва в преподавании языка и литературы, с другой стороны. Одноязычная дидактика характеризуется синхроническим представлением системы языка в описании, формальными принципами построения грамматики, отделением изучения языка от истории и смыслового содержания текстов, отсутствием сопоставительного подхода к изучению родной и неродной культур. <...> У человека, владеющего литературным языком в пределах среднего образования, складывается впечатление, что он в состоянии освоить содержание текстов любой сложности без знания правил составления текстов, так как не имеет представления о существовании таких правил. Отсюда возникает не только тенденция к свёртыванию культуры, но и проблема социальной незащищённости личности. Языковая личность, формируемая средней школой, не обладает средствами защиты перед воздействием массовых видов речи»<sup>2</sup>. Она и не может ими обладать, поскольку такую задачу современное образование не ставит перед собой, да и, кроме прочего, она явно противоречила бы новой социально-политической реальности, в которой мы пребываем: человек, способный анализировать то, как «монтируется» текст, имеющий целью манипулировать сознанием адресата, не только не желателен, но и потенци-

---

<sup>1</sup> Варзони́н, Ю.Н. Studium Latinum в европейском образовании XIX века [Текст] / Ю.Н. Варзони́н // Вестник Тверского государственного университета. Серия: филология. Тверь. 2012. № 21. С. 184.

<sup>2</sup> Зарифья́н И.А. Общая и частная риторика в истории курса «Теория словесности» [Текст] / И.А. Зарифья́н. Риторика. 1995. № 1. С. 120–121.

ально опасен, потому что на таких текстах ныне строятся многочисленные индустрии, густой сетью опутывающие каждого с самого его появления на свет.

Античный тривий тысячелетиями справлялся со своими задачами, оставаясь структурно тем же самым и вбирая в себя попутно лучшие образцы словесности европейской (да и мировой) культуры. Однако всерьёз рассматривать возможность возвращения к модели тривия, даже подразумевая при этом решительное обновление содержания, а также согласование с современным состоянием наук, вряд ли возможно, и причин тому достаточно много. Начнём с непреодолимого расстояния между лингвистикой и школьной грамматикой. Какой-то сомнительный довод в пользу того, что школьная грамматика столь антинаучна для того, чтобы дети её легче осваивали, под собой решительно ничего не имеет. Почему математика остаётся математикой, и химия химией? И почему этот «облегчённый» вариант не приносит заметных успехов (если успехом не считать тотальное отсутствие знаний о собственном языке — может такова и цель?)? Кстати говоря, в естественном порядке человек усваивает родной язык без обучения, даром. Если школьное образование, предполагающее сознательное знакомство с родным языком, не вызывает у части учащихся какого-либо интереса и не даёт им соответствующих знаний, то это не повод для удивления, ибо так было, бывает и будет. Те же учащиеся, которые успешны в своих трудах, на свою оставшуюся жизнь усваивают фрагменты курса русского языка в такой степени, что, случись им оказаться студентами-русистами, оказываются не способными усваивать современную лингвистическую теорию, на первых порах их шокирующую, затем подводящую к угрожающей личности энтропии, когда информационный поток становится неуправляемым, и, наконец, заставляющую в абсолютном большинстве случаев «ретироваться». Современная лингвистика действительно невероятно сложна, и специалист по определению должен обладать нужной компетентностью. Объём лингвистических знаний для общего образования — совсем иное дело, он неизбежно ориентируется на то, что с высокой вероятностью оказывается востребованным в жизни каждого гражданина России и в жизни

общества. Но большой объём профессионального знания и меньший объём знания непрофессионального не должны вступать в противоречие, иначе они лишаются смысла.

В силу известной традиции русский язык (лингвистическая дисциплина) совмещается с литературой (литературоведение). Дистанция между ними огромна. Сегодня это разные, далёкие друг от друга науки, не имеющие общего метаязыка. Во второй половине XX века начались интенсивные (по крайней мере, так казалось) поиски возможностей объединения на просторных полях семиотики. Чем дальше, тем надежды на скорый успех становились всё скромнее, однако они всё же реальны. Другое дело, что и родной язык, и литература в существующем виде (имеются в виду предметы в системе образования) никак не могут встраиваться в концепцию семиотики, потому что сама она — настоящий конгломерат гуманитарных (и не только гуманитарных) отраслей знания, в котором интегративность предполагает не накопление отдельных фрагментов отраслевого знания, а их предварительное наличие. Впрочем, за такое наличие выдаётся просто формальное сходство: русский язык и литература на русском языке принимаются за единый объект, хотя в данной диспозиции общим является только русский язык, который остаётся тем же самым ещё и для физики, химии и даже физкультуры. Ответный шаг в сторону генетического родства с литературой проявляется в бесконечном нагромождении цитат поэтов и прозаиков при бесконечном изучении правил правописания, пунктуации и т.п. Вероятно, именно такие включения должны напоминать о том, что русский язык и русская литература не могут восприниматься раздельно. Как ни смотри на эту ситуацию, ничего правдоподобного в сложившемся тандеме русского языка и литературы обнаружить не удаётся, притом что в наших вузах реально осуществляется подготовка либо лингвиста, либо литературоведа. У литературы как школьного предмета и литературы как специальности значительно больше сходства, чем различий — должно быть, одна из причин, по которым и в вузе литературоведение как специализация востребовано значительно больше, чем лингвистика. И по объекту, и по содержанию литература куда ближе к теории искусства, гуманитаристике, истории в ча-



стности, а если учесть, что в российской школе (и гимназии) никогда не преподавалась философия, то традиционно хотя бы отчасти именно литература как учебный предмет компенсировала этот пропуск. В таком направлении у литературы не только много возможностей, но и очевидна потребность в ней со стороны буксующего по всем параметрам образования. Сегодня просто призыв к чтению не слишком эффективен; потребность в чтении должна вытекать из самой жизни, а изучение литературы способно показывать человеку самые разнообразные модели вхождения индивида во взаимодействие с другим индивидом, с группой, коллективом, этносом, модели воздействия другого индивида, группы, коллектива, этноса. Эстетическая составляющая, абсолютизируемая в настоящее время, никак не страдает, зато приобретёт вполне конкретный смысл. Конечно, одной современной риторики для проникновения в текст недостаточно, так как это вообще не её задача, ибо риторика отвечает за конструирование текста, но текст должен быть воспринят, проинтерпретирован, понят, а это — зона действия теории интерпретации, герменевтики. Будучи сложенными в надлежащих пропорциях, обогащённые необходимыми философскими концепциями и направленные на художественный текст, эти базовые компоненты составят основу филологии, которая вполне справедливо и безболезненно станет своего рода аналогом утраченного предмета — теории словесности. Преподавание русского языка должно осуществляться за рамками теории словесности, хотя по понятным причинам предметы опираются друг на друга.

Уже длительно существующая практика моноязычной дидактики имеет крайне негативные следствия. О ненаучности школьного курса русского языка речь шла выше. Но и вузовская научная русистика отличается некоторыми специфическими чертами. Более всего в ней заметен такой взгляд на русский язык, как будто бы кроме него других языков не существовало, как будто бы не существовало европейского и мирового языкознания. А ведь Россия — страна, в которой говорят более чем на 150 языках, и слышать иноязычную речь в любых местах города нам приходится всё чаще. Замкнутость на себе в русистике объ-

ясняется известными идеологическими причинами, но значит ли, что русистика всегда будет находиться под прессом уже ушедшей идеологии?

Моноязычность должна быть преодолена, и снова вряд ли удастся придумать нечто новое по сравнению с хорошо забытым старым. Подготовка преподавателя русского (родного) языка не может быть полноценной без сопоставительного принципа, предполагающего сравнение родного языка с неродными, причём не в объёме ознакомительного курса, а с глубоким погружением, примерно как при подготовке преподавателей иностранных языков. Оптимальный вариант видится как раз в совмещении родного и иностранных языков при профессиональной подготовке учителей-лингвистов, поскольку в нашей традиции опора на родной язык при изучении языков иностранных является общим местом. Подготовка такого профессионала предполагает общую основу — веками такую функцию выполняла «общая (универсальная) грамматика», на фоне которой усилия на каждый последующий язык складываются из уже освоенных, то есть срабатывает закономерный принцип экономии. При существующих подходах принцип экономии практически исключён, так как междисциплинарные барьеры, подкрепляемые специфическим метаязыком, тщательно перекрывают возможность необходимых когнитивных интерференций. Проблема «общей грамматики» не так сложна, она вполне может ориентироваться на современный состав курсов теории языка, оперирующих новейшими достижениями как самой лингвистики, так и смежных, питающих лингвистику, дисциплин. Разумеется, современная лингвистическая теория не мыслима без когнитивистики и коммуникативистики — и первое, и второе в фокусе своего внимания держат реальность использования языка во всём многообразии возможных ситуаций. Здесь, опять же, важнейшее значение имеет то обстоятельство, что все такие ситуации зримо вовлекают в себя обучаемого — не красотой, конечно же, а неотвратимой неизбежностью встречи с ними. Сегодняшняя лингвистика, пусть она сложна и технологична, представляет собой фундамент громадного количества профессий, среди которых очень многие относятся к относительно новым и «модным». Понятно,

что профессиональная подготовка лингвиста — уже слишком объёмное и энергоёмкое занятие, но таковы запросы времени. Если их оставлять без ответа, не нужно надеяться на скорое наступление «светлого будущего» отечественной словесности, придётся смириться и наблюдать за её стремительным угасанием и даже не оставаться от него в стороне.

*Ю. Н. Варзони*

## ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В задачи данного исследования входило установление общего поля языковых формул, перенесенных из древних языков в литературу XIX столетия. Тема эта сложна и включает в себя целый ряд аспектов. В первую очередь важен просветительский элемент в литературных текстах, отсылающих к классическому наследию. Изучение древних языков в среднем и высшем образовании — отдельная (очень важная) составная часть культурной истории России. Не только в сочинениях педагогического свойства, в «школьных воспоминаниях», но и в художественной литературе возникают отсылки к образовательным моделям, основанным на знании цитат на древних языках. Степень искажения этих цитат, причины и цели искажений, упрощений и любых изменений — один из важнейших элементов для понимания роли иноязычных фрагментов в литературных текстах. Лингвистический анализ, который проделан в рамках исследования, связан с историей образования и с историей русской культуры XIX столетия. Во время подготовки монографии был составлен словарь «исторических цитат» (наиболее употребительных формул из древних языков, соотносящихся в русской литературе с историческими сюжетами). Фронтальному просмотру подверглись около 1000 исторических романов XIX века. В качестве предварительного итога работы вышел в свет словарь-справочник «Древние языки в русской исторической прозе XIX века» (Сост. А. Ю. Сорочан, ред. Ю. Н. Варзонин. Вст. ст. А.Ю. Сорочана и Ю. Н. Варзониной. Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2014). Также были рассмотрены «юридические формулы», встречающиеся в уголовном романе последней трети XIX века; охарактеризованы просветительские стратегии использования древних языков на материале литературы начала XIX века и «духовных» текстов середины века (С. А. Васильева), проанализированы соответствующие теме фрагменты пере-

водных исторических романов на античные темы» (Г. Сенкевич, Ф. Крауфорд, Г. Эберс и др.)

Для характеристики трансформаций языковых элементов следовало всесторонне проанализировать и распространенность знаний о языке, и степень их актуализации, и формы интерпретации древних языков в новой литературе. Мы уже упоминали о том, что необходим анализ роли древних языков в гуманитарном образовании, функций иноязычных цитат в текстах, форм «языкового присутствия» древней культуры в переводах и нехудожественной литературе. Все эти задачи стояли перед участниками проекта «Древние языки в русской литературе XIX века», их решению во многом посвящена настоящая монография. Каковы же общие стратегии использования классических языков в русской литературе XIX столетия? Рассмотрев роль античности в системе образования, проанализировав индивидуальные и жанровые модели интерпретации классического наследия, определив статус цитат и статус классических языков, мы можем предложить некоторые выводы.

В начале XIX столетия, в «романах воспитания» и плутовских романах (например, в романах В. Т. Нарезного) иноязычные фрагменты весьма обширны. Но цитаты на древних языках выполняют учительную функцию, содержат мораль или выводы из пережитого опыта; любопытно, что в исторических романах Нарезного ничего подобного не обнаруживается. Однако параллельно педагогический эффект трансформируется — в сочинениях Н. М. Карамзина, других сентименталистов словоупотребления становятся эпизодическими, каждое используемое слово предполагает пояснение. Литератор выполняет функцию педагога, сообщающего информацию о новых для читателя лексемах. Описание таких словотолкований было бы интересно не только с лингвистической точки зрения. Характеристика языковедческих усилий литераторов поясняет и общие философские установки, которыми руководствуются представители изящной словесности в своих усилиях по приобщению «публики» к классической культуре. И здесь исторический роман уже выполняет «просветительские» функции. Причем просвещается не только

читатель, но и автор — переписывая латинские фразы, М.Н. Загоскин вряд ли изучил язык. Но освоение латыни отличалось у него той же основательностью, что и освоение поэзии. Писателю «ученые» слова необходимы — значит, они будут, и их узнает и читатель.

Включение «классических» цитат в тексты разных жанров показывает, насколько различны формы освоения античного текста. В жанре фрагмента мы, как правило, наблюдаем стремление воплотить в звуках древнего языка основную идею высказывания, в повестях — отдельные употребления соответствующих лексем играют роль авторских характеристик и т.д. Особый интерес в данном случае представляют произведения авторов, специально занимавшихся классическими языками (так, В.Ф. Одоевский исследовал музыкальность языков, и эти работы тесно связаны с его художественной прозой — а лингвистический их анализ еще не осуществлен).

В «классическом» русском романе 60–90-х годов XIX века присутствие цитат на древних языках может показаться незначительным — но это впечатление обманчиво. А в малой прозе конца столетия элемент стилизации (от А. П. Чехова до М. А. Кузмина) становится основным фактором включения классической цитаты в текст. Особое внимание применительно к ситуации конца века следует уделить историко-документальным текстам, а также роли классических языков в формировании имиджа литературных журналов второй половины XIX века (от эпитафий до переводных фрагментов из иностранных изданий).

Но этот историко-лингвистический анализ не исчерпывает всей сложности проблемы. Обращаясь к жанровым текстам, мы можем наиболее четко охарактеризовать функциональную роль древних языков. Например, в историческом романе «из древних времен» отдельные цитаты создают целостный культурный фон. Так, мода на Древний Египет в России появилась с переводами романов Георга Эберса. И в романах и рассказах Д. Л. Мордочева эта мода становится основой для решения специфических

задач писателя, раскрывающего египетские и ближневосточные сюжеты.

Совершенно иное использование древних языков наблюдается в мистической и фантастической литературе. Здесь соответствующие фрагменты служат для создания таинственной атмосферы; неаккуратность использования языкового материала компенсируется чрезмерным акцентированием его значительности (здесь показательны и переводы с французского, и оригинальные тексты). В уголовных романах использование юридических формул — основной вид интерпретации «классической культуры».

Жанровые шаблоны предполагали определенные формы реинтерпретации классического наследия. Так, в историческом романе в начале XIX века латинский текст (а латинские цитаты, как увидим, оказываются наиболее распространенными — присутствие греческого и древнееврейского в исторических текстах минимально) служит своего рода сопроводительным материалом, классические формулы становятся комментариями к тем или иным поступкам героев (что особенно ярко проявилось в текстах М. Н. Загоскина и Н. А. Полевого). При этом автор мог, не зная языка, переписывать подходящие по смыслу фразы, не заботясь о грамматической точности — ему важно само по себе наличие параллельного текста.

С другой стороны, появляются и произведения, в которых древние языки — только часть исторического фона, одна из составляющих характеристики героя или эпохи. Таковы классические формулы, воспроизводящиеся в романах Ф. В. Булгарина и К. П. Масальского. Особенно ярко этот элемент проявился в «низовом» историческом романе второй половины столетия — несколько латинских фраз, долженствующих показать образованность героя, кочуют из текста в текст. Путь от фраз — «параллелей» к фразам — «камертонам» в историческом романе XIX века не может считаться прямым (в справочнике сохранены указания на даты жизни авторов романов, чтобы можно было яснее представить эту хронологическую последовательность). Да и вообще — как всякая схема, представленное описание пре-

дельно условно. Однако анализ «классического присутствия» весьма нагляден и в историческом романе, и в литературе путешествий. Функционирование древних языков в травелогах связано скорее с «языками», нежели с «древностью». Если в начале XIX столетия мы наблюдаем, как усложняются значения классических формул, то в конце века эти формулы появляются в результате воплощения неких условных моделей («педагогической» или «политической» чаще всего). Подобные же трансформации прослеживаются и в исторической публицистике, и в фантастической литературе.

Участниками проекта рассматривалась роль древних языков в творчестве, документальных текстах и в частной переписке конкретных литераторов; здесь достигнуто наиболее тесное взаимодействие классической лингвистики и истории литературы.

Характеристика языковедческих усилий литераторов поясняет и общие философские установки, которыми руководствуются представители изящной словесности в своих усилиях по приобретению «публики» к классической культуре. В монографии проанализированы самые разные тексты, созданные как авторами первого ряда (Ф. М. Достоевский), так и писателями забытыми или «низовыми» (В. И. Немирович-Данченко). «Педагогический» аспект использования древних языков был рассмотрен на примере творчества Ф.Н. Глинки. Три романа И.И. Лажечникова показывают, как «книжность» из прерогативы героев переходит в речь автора, как изменяются формы и функции древних языков в исторической прозе.

И постепенная стереотипизация восприятия классического наследия становится все более понятной. Образовательные стратегии транслируются в литературу, а литературные произведения в свою очередь предлагают читателям образцы использования классических формул. Уподобление современности — античности было возможно тогда, когда классическое образование предполагало актуальность подобных примеров. По мере того, как языки становятся «мертвыми», лишаются житейского смысла и фразы... И греческие и латинские слова из значимых



элементов диалога становятся «памятниками» классической культуре. Схематизм легко было бы объяснить жанровыми формулами — но это не так... Авторы второй половины XIX века используют лишь оболочку античных фраз, умножение смыслов уже не представляется возможным.

Как преодолеть эту тенденцию? Думается, кое-что можно сделать и сейчас... И возможно, настоящая монография окажется небесполезной для поиска путей актуализации античного наследия уже не в XIX, а в XXI веке.

*Ю. Н. Варзонин, С. А. Васильева,  
Е. П. Максимова, А. Ю. Сорочан*

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	3
<b>ГЛАВА I. HABENT SVA FATA LINGVAE?.....</b>	<b>9</b>
STVDIVM LATINVM В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ XIX ВЕКА.....	9
LINGVA NEMINI ALIENA: ЛАТЫНЬ В ЕВРОПЕ XIX ВЕКА .....	22
АНТИЧНЫЙ ТЕКСТ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦИИ .....	34
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ АНТИЧНОЙ ЦИТАТЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ .....	41
СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА АНТИЧНОЙ ЦИТАТЫ В ТЕКСТЕ И ДИАЛОГЕ .....	50
ПРАГМАТИКА КЛАССИЧЕСКОЙ ЦИТАТЫ .....	57
<b>ГЛАВА II. АВТОРСКИЕ МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА.....</b>	<b>63</b>
ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.Н. ГЛИНКИ .....	63
ЯЗЫК ПРОШЛОГО И ЯЗЫК НАСТОЯЩЕГО: ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ В ПРОЗЕ ЛАЖЕЧНИКОВА .....	77
ЛАТИНСКИЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО ..	91
ЗНАЧИМОЕ ОТСУТСТВИЕ: КЛАССИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВАС.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО .....	108

<b>ГЛАВА III. ЖАНРОВЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ.....</b>	<b>119</b>
КЛАССИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ В ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА .....	119
ЛАТЫНЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ Г. СЕНКЕВИЧА .....	130
ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЦ: ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ.....	144
ЛАТЫНЬ В ЖУРНАЛЕ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК».....	160
<b>ГЛАВА IV. СТАТУС ЦИТАТЫ И СТАТУС ЯЗЫКА .....</b>	<b>171</b>
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС ЦИТАТ .....	171
О СЛАВНОМ ПРОШЛОМ И СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ РОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ .....	179
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ .....	187

*Древние языки в русской литературе XIX века*

*Научное издание*

*Редакторы — составители  
Ю. Н. Варзонин, А. Ю. Сорочан*

*Подписано в печать 20.12.2014*

*Формат 60x84 1/16*

*Бумага типографская. Объем 11,4 п. л.*

*Тираж 200 экз.*

*Издательство Марины Батасовой*

*(4822) 450–459, 8 920 684 6879*

*E-mail: [batasic@rambler.ru](mailto:batasic@rambler.ru)*

*Отпечатано в ООО «Альфа-Пресс»*

*170000, г. Тверь, ул. Советская, 15*



